

Санд Ж.



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ОРАС**

Собрание сочинений

Жорж Санд

Орас

«Алгоритм»

1841

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Орас / Ж. Санд — «Алгоритм», 1841 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02832-8

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. В романе «Орас» Жорж Санд проводит своего героя-себялюбца через многочисленные испытания. К сожалению из приобретенного опыта он извлекает далеко не праведный урок, превращаясь из сомнительного романтика, щеголяющего своими передовыми идеями, – в заурядного карьериста, спекулирующего этими идеями.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02832-8

© Санд Ж., 1841
© Алгоритм, 1841

Содержание

Предисловие	5
Господину Шарлю Дюверне	6
Глава I	7
Глава II	12
Глава III	17
Глава IV	22
Глава V	27
Глава VI	32
Глава VII	36
Глава VIII	41
Глава IX	45
Глава X	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55
Комментарии	

Жорж Санд

Орас

Предисловие

[1]

Надо полагать, что в *Орасе* верно изображен весьма распространенный в наши дни тип молодого человека, ибо из-за этой книги я нажил себе немало непримиримых врагов. Люди, совершенно мне неизвестные, утверждали, будто узнают себя в моем герое, и не могли простить мне, что я так безжалостно их разоблачил. Мне не остается ничего другого, как повторить здесь то, что уже было сказано мною в первом предисловии; я никого не имел в виду, рисуя портрет моего героя; я брал его черты повсюду и нигде в частности, так же как я поступал создавая образ и второго героя, наделенного безграничной самоотверженностью, которого я противопоставил первому, обладавшему необузданным себялюбием. Оба эти характера вечны, и, как сказал в шутку один весьма остроумный человек, мир мало-мальски мыслящих существ делится на два вида: *насмешников* и *простаков*. Быть может, именно это меткое замечание и побудило меня написать *Ораса*. А может быть, мне просто захотелось показать, что себялюбцы порою становятся жертвой собственного эгоизма, а люди самоотверженные не всегда несчастны. Я не доказал ничего. Впрочем, ничего и нельзя доказать ни вымыслом, ни даже правдивым рассказом; но люди честные находят опору в своей совести, и для них-то я и писал эту книгу, в которой иные усмотрели столько коварства. Мне оказали слишком много чести; я предпочел бы принадлежать к самому скромному разряду простаков, нежели к блестящему сонму насмешников.

Жорж Санд
Ноан, 1 ноября 1852 г.

Господину Шарлю Дюверне

[2]

Разумеется, он нам знаком, черты его присущи многим людям, но ни один из них не послужил мне образцом. Боже избави меня высмеивать в моем романе какую-нибудь определенную личность. Моя цель и на этот раз – дать сатирическое изображение порока, распространенного в современном обществе; и если это удалось мне не лучше, чем всегда, то, как и всегда, я скажу: в этом повинен автор, а не истина. Нынешние маркизы уже не смешны^[3]. Несомненно, что теперь, когда старые общественные слои вытеснены новыми, дерзкие притязания тщеславия проявляются по-иному и в иной среде. Я попытался внимательно исследовать образ современного молодого человека, но наш герой нимало не похож на то, что в Париже именуют «львом». «Лев» – существо вполне безобидное. Орас – тип опасный, ибо обладает подлинными достоинствами, и к тому же это тип более распространенный. «Львы» не являются преемниками ни маркизов Мольера, ни волокит эпохи Регентства; они ни хороши, ни дурны; они только по-детски разыгрывают злодеев. Это бессильное подражание ныне исчезнувшим блистательным порокам – лишь мелкий эпизод в общем ходе спектакля. Орас должен был пройти через это; но он действовал из иных побуждений и стремился к иным целям. К счастью, одно лишь смешное подражание не может удовлетворить честолюбивую молодежь, которая, проходя сквозь сотни ошибок и заблуждений, растет и очищается благодаря могущественной силе самолюбия. Мы часто говорили с вами, друг мой, о тех наших современниках, в ком себялюбие достигло крайних пределов. Не раз мы видели, как, желая творить добро, они творили зло. Порой мы смеялись над ними, часто их осуждали, еще чаще жалели, но все-таки мы их любили, *несмотря ни на что!*

Жорж Санд

Глава I

Люди, к которым мы испытываем наибольшую привязанность, не всегда внушают нам наибольшее уважение. Влечение дружественных сердец не нуждается в восторгах и восхищении. Оно основано на чувстве равенства, побуждающем нас искать в друге человека, подобного себе, человека, подверженного тем же страстям, тем же слабостям, что и мы. Преклонение требует привязанности совсем иного рода, чем непрерывная напряженная близость, именуемая дружбой. Я был бы дурного мнения о человеке, который не любит того, чем сам восхищается, еще меньше мне понравился бы человек, любящий только то, что его восхищает. Однако это справедливо лишь в отношении дружбы. Любовь – совсем другое: она живет восторгами; все, что оскорбляет ее пылкую чувствительность, сушит и губит ее. И все же самое сладостное из человеческих чувств – то, что питается слабостями и ошибками в той же мере, как величием и подвигом, что свойственно любому возрасту, зарождается в нас с первым ощущением бытия и кончается вместе с нашей жизнью; чувство, которое поистине удваивает и расширяет наше существование, возрождается из пепла и, казалось, исчезнувшее навсегда, вновь возникает, столь же прочное и нерушимое; чувство это, увы, не любовь; вы знаете сами – это дружба.

Если бы я высказал здесь все, что думаю и знаю о дружбе, я забыл бы о своем повествовании и написал бы трактат во многих томах; но, пожалуй, я рисковал бы найти немного читателей в наш век, когда дружба настолько вышла из моды, что и она встречается не чаще, чем любовь. Итак, я ограничусь изложенным, дабы предпослать своему рассказу следующее введение; а именно, друг мой, о котором я горячо сожалею, чья жизнь особенно тесно переплелась с моей, не был совершеннейшим и лучшим из людей; напротив, это был юноша, исполненный недостатков и странностей; порой я ненавидел и презирал его, но все же ни к кому и никогда не испытывал столь властного и непобедимого чувства симпатии.

Его звали Орас Дюмонте; он был сыном мелкого провинциального чиновника с жалованьем в полторы тысячи франков, который, женившись на богатой деревенской наследнице, обладавшей почти шестью тысячами экю, оказался, как говорится, держателем ренты в три тысячи франков. Его будущее – то есть продвижение вперед – зависело от его трудолюбия, здоровья и хорошего поведения, иными словами – от слепого повиновения всем установлениям и порядкам существующего строя.

Неудивительно, что при таком ненадежном положении и ограниченном достатке господин и госпожа Дюмонте, отец и мать моего друга, решив дать сыну образование, поместили его в провинциальный коллеж, где он получил звание бакалавра, а затем отправили в Париж обучаться в высшей школе, с тем чтобы через несколько лет он стал адвокатом или врачом. Я говорю «неудивительно», ибо нет семьи, находящейся в подобных условиях, которая не лелеяла бы честолюбивой мечты обеспечить своим отпрыскам независимое положение. *Независимость* или то, что понимают под этим возвышенным словом, – вот идеал бедного чиновника; слишком много претерпел он лишений, а зачастую, увы, и унижений, чтобы не испытывать желания избавиться от них свое потомство; он верит, что судьба щедро рассыпала вокруг счастливые жребии и стоит лишь нагнуться, чтобы обрести блестящее будущее. Человек стремится вверх; благодаря этому инстинкту и держится столь поражающее своей хрупкостью и вместе с тем долговечностью здание общественного неравенства.

Из всех профессий, доступных юноше и способных избавить его от нищеты, родители никогда не согласятся избрать самую скромную и самую надежную. Судьей тут всегда выступает алчность или тщеславие. Вокруг столько блестящих примеров! Из низших слоев общества выбивается на первые места столько гениев разного рода, в том числе и гениев ничтожества! «Почему бы, – говорил жене господин Дюмонте, – нашему Орасу не выйти в люди, как такой-то или такой-то и многие другие! У него-то способностей и смелости побольше». Гос-

пожу Дюмонте несколько испугали жертвы, необходимые, по словам мужа, для того, чтобы поставить Ораса на ноги, но как не поверить, что ты произвела на свет самого умного и одаренного ребенка из всех когда-либо живших на земле? Госпожа Дюмонте была простая, добрая женщина, выросшая в деревне и обладавшая здравым смыслом в пределах доступных ей понятий. Но огромный неизвестный ей мир, существовавший за пределами этого узкого круга, она видела лишь глазами своего мужа. Когда господин Дюмонте говорил ей, что после революции все французы равны перед законом, что нет более привилегий и каждый талантливый человек может пробиться сквозь толпу и преуспеть, разве лишь проталкиваться придется посильнее, чем тому, кто находится ближе к цели, она поддавалась на его уговоры, боясь прослыть отсталой и упрямой, как те крестьяне, среди которых она родилась и выросла.

Жертва, на которой настаивал господин Дюмонте, представляла собой ни больше ни меньше, как половину их дохода! «На полторы тысячи франков, – говорил он, – мы можем скромно жить и воспитывать дома нашу дочь; на остальные же доходы, то есть на мое жалованье, мы можем в течение нескольких лет прилично содержать Ораса в Париже».

Полторы тысячи франков, чтобы прилично жить в Париже, имея от роду девятнадцать лет, да еще будучи Орасом Дюмонте!.. Госпожа Дюмонте не останавливалась перед жертвами; славная женщина согласилась бы питаться одним черным хлебом и ходить босиком, лишь бы помочь сыну и угодить мужу; но ей горько было истратить разом все сбережения, сделанные за время ее супружеской жизни и составившие около десяти тысяч франков. Тому, кто незнаком с убожеством провинциальной жизни и поразительной способностью рачительных хозяек сокращать расходы и выгадывать на всем, покажется баснословной возможностью при ренте в три тысячи франков скопить несколько сотен экю в год, не уморив при этом с голоду мужа, детей, служанок и кошек. Но тому, кто сам ведет такую жизнь или видит ее вблизи, известно, как часто это бывает. Женщина, не имеющая ни таланта, ни профессии, ни состояния, может существовать и поддерживать существование своих близких, лишь проявляя необычайную изворотливость в обкрадывании себя самой, ежедневно лишая чего-либо необходимого свою семью. Жалкая жизнь, не знающая ни сострадания, ни веселья, ни разнообразия, ни гостеприимства. Но какое до этого дело богачам? Они считают, что общественные блага распределены вполне справедливо! «Если эти людишки хотят воспитывать своих детей так же, как мы своих, – говорят они о мелких буржуа, – пусть терпят лишения! А не хотят терпеть лишения, пусть отдадут детей в ремесленники или чернорабочие!» Богачи рассуждают справедливо с точки зрения общественного права, но с точки зрения права человеческого... Бог им судья!

«А почему бы, – рассуждают бедняки в своих жалких лачугах, – почему бы нашим детям не пользоваться всеми благами наравне с детьми крупных промышленников или благородных господ? Образование уравнивает людей, и сам Бог велит нам стремиться к равенству».

Вы тоже правы, почтенные родители, совершенно правы, – с общей точки зрения; и, несмотря на частые и жестокие крушения ваших надежд, мы, несомненно, долго еще будем идти к равенству тропой, проторенной вашим законным честолюбием и вашим наивным тщеславием. Но когда свершится действительное уравнение прав и надежд, когда каждый человек найдет в обществе ту среду, где его существование будет не только возможно, но полезно и плодотворно, – тогда каждый, будем надеяться, измерит свои силы и оценит свои способности в обстановке спокойствия, даруемого свободой, более разумно и скромно, чем это делается сейчас, в лихорадочной тревоге и возбуждении борьбы. Я твердо верю: придет время, когда юноша не будет стремиться либо стать первым человеком своего века, либо пустить себе пулю в лоб. А так как в те времена каждому будут даны политические права и пользование этими правами явится неотъемлемой частью жизни всех граждан, то, весьма вероятно, политическая карьера не будет привлекать столько честолюбцев, рвущихся к ней сейчас с такой страстью и с таким презрением ко всем другим занятиям, ибо эта карьера сулит им главенство и власть над людьми.

Как бы то ни было, госпожа Дюмонте, предназначавшая накопленные десять тысяч франков в приданое дочери, наконец согласилась истратить их на содержание сына в Париже и снова стала откладывать деньги, чтобы выдать замуж Камиллу, сестру Ораса.

И вот Орас на прекрасных улицах Парижа. При нем – его звание бакалавра и студента юридического факультета, его девятнадцать лет и полторы тысячи пенсiona. Он уже целый год был – или считался – студентом, когда я познакомился с ним в маленьком кафе возле Люксембургского сада, куда мы каждое утро заходили выпить чашку шоколада и почитать газеты. Его учтивость, открытое лицо, живой и мягкий взгляд пленили меня с первого раза. Молодые люди сходятся быстро; достаточно им посидеть несколько дней сряду за одним столиком и перекинуться из вежливости двумя-тремя словами, чтобы в первое же солнечное утро завязался откровенный разговор и из кафе перенесся в тенистые аллеи Люксембургского сада. Это с нами и случилось в одно прекрасное весеннее утро. Цвела сирень, солнце весело играло на красном дереве и бронзовых украшениях конторки, за которой сидела госпожа Пуассон, прелестная хозяйка кафе. Сам не помню, как мы с Орасом очутились у большого бассейна и, гуляя рука об руку, болтали, словно старые друзья, не зная даже, как зовут друг друга; ибо, если обмен мнениями неожиданно и сблизил нас, то ни он, ни я не отрешились еще от той сдержанности, которая у людей воспитанных обычно является доказательством взаимного уважения. Я только и узнал в тот день об Орасе, что он студент юридического факультета; он только узнал обо мне, что я изучаю медицину. Он лишь спросил, как отношусь я к избранной мною науке; такой же вопрос задал ему и я.

– Я восхищаюсь вами, – сказал он мне на прощание, – вернее, я вам завидую: вы работаете, вы не теряете времени даром, вы любите науку, у вас есть надежды, вы идете прямо к цели! Я же стою на другой дороге; и, вместо того чтобы стремиться вперед, только и думаю, как бы свернуть в сторону и сбежать. У меня отвращение к юриспруденции – этому сплетению лжи, направленному против божественной справедливости и вечной истины. И хотя бы вся эта ложь была связана какой-нибудь логической системой! Но нет, одна ложь бесстыдно противоречит другой, словно для того, чтобы каждый мог причинять зло теми извращенными способами, какие ему представляются наиболее удобными. Я объявляю глупцом или негодяем каждого юношу, который всерьез занимается изучением судейского крючкотворства. Презираю, ненавижу его!..

Он говорил с подкупающим жаром, не лишенным, однако, известной нарочитости. Слушая его, нельзя было усомниться в его искренности; но, казалось, он раздражается подобными тирадами не впервые. Они лились так естественно и свободно, словно были заучены наизусть, – да простится мне этот мнимый парадокс! Если вы превратно поймете то, что я хочу этим сказать, вам нелегко будет постичь тайну характера Ораса, ибо его трудно определить, трудно справедливо оценить даже мне, так долго его изучавшему.

Это была смесь притворства и естественности, столь искусно соединенных, что невозможно было различить, где начиналось одно и кончалось другое; так в некоторых блюдах или эссенциях ни по вкусу, ни по запаху невозможно распознать их составные элементы. Я видел людей, которым Орас сразу же внушал безмерную антипатию, он казался им высокомерным и напыщенным. Другие же пленялись им немедленно, не могли им нахвалиться, утверждали, что такого чистосердечия и непринужденности не найти нигде. Должен вас заверить, что и те и другие ошибались, – вернее, и те и другие были правы: Орас был *естественным притворщиком*. Разве не знаете вы подобных людей? Они так и рождаются с заимствованным характером и манерами, и кажется, будто они играют роль, тогда как в действительности разыгрывается драма их собственной жизни. Они копируют самих себя. Это пылкие умы, назначенные природой любить великое; пусть среда, окружающая их, обыденна – зато стремления романтичны; пусть их способность к творчеству ограничена – зато замыслы безмерны; потому-то эти люди всегда драпируются в плащ героя, созданного их воображением. Но герой этот не кто иной,

как он сам, – его мечта, его творение, его внутренняя, вдохновляющая сила. Реальный человек живет рядом с человеком идеальным; и подобно тому, как в расколотом надвое зеркале мы видим собственное отражение двойным, так и в этом как бы удвоенном человеке мы различаем два образа, неразделимых, но совершенно несходных между собой. Именно это мы понимаем под выражением «вторая натура», ставшим синонимом слова «привычка».

Таков был Орас. Потребность показывать себя в наиболее выгодном свете была у него так сильна, что он всегда был изысканно одет, наряжен и блестящ. Природа, казалось, помогала ему в этой неустанной работе. Он был красив, держался изящно и непринужденно. Правда, не всегда в его одежде и манерах проявлялся безупречный вкус, однако художник мог бы в любую минуту подметить в нем какую-нибудь эффектную черту. Он был высокого роста, хорошо сложен, плотен, но не толст. Лидо его привлекало благородной правильностью черт, – однако в нем не было утонченности. Утонченность – нечто совсем иное. Благородство черт дается природой, утонченность – искусством; первое рождается вместе с нами, второе приобретает. Утонченность предполагает сознательно выработанное поведение, вошедшее в привычку выражение лица. Густая черная борода Ораса была подстрижена с щегольством, сразу выдававшим его принадлежность к Латинскому кварталу^[4], а пышные и черные как смоль волосы рассыпались в буйном изобилии, которое истинный денди постарался бы слегка обуздать. Но когда он порывисто проводил рукой по этой темной волне, растрепавшиеся волосы не делали его смешным и не портили прекрасного лба. Орас отлично знал, что может безнаказанно ерошить прическу хоть двадцать раз на день, ибо, как он сам невзначай при мне обмолвился, волосы его лежали восхитительно. Одевался он с некоторой изысканностью. Его портной, малоизвестный и не имевший представления о подлинном светском вкусе, понял его стиль и отваживался изобретать для него более широкие обшлага, более яркий жилет, более выпуклый пластрон, более смелый покрой фрака, чем для других молодых клиентов. Орас был бы совершенно смешон на Гентском бульваре^[5]; но в Люксембургском саду или в партере театра Одеон^[6] он был самым элегантным, самым непринужденным, самым щеголеватым, самым шикарным молодым человеком, как принято писать в журналах мод. Шляпа его была сдвинута набок, но в меру, трость была не слишком тяжела, но и не слишком легка. В его одежде отсутствовала та мягкость линий на английский лад, которая отличает истинную элегантность; зато в его движениях было столько гибкости, а свои негнущиеся лацканы он носил с такой свободой и естественной грацией, что дамы из аристократических кварталов, особенно молодые, нередко достаивали его взглядом из глубины ложи или из окна кареты.

Орас знал, что он красив, и не упускал случая дать это почувствовать, хотя у него хватало такта никогда не говорить о своей внешности. Зато он всегда обращал внимание на внешность других людей. Он мгновенно и придирчиво отмечал все погрешности, все недостатки чужой наружности и, естественно, своими ироническими замечаниями побуждал вас мысленно сравнивать его внешность с внешностью его жертвы. В таких случаях он становился язвительным. Обладая превосходно очерченным носом и чудесными глазами, он был безжалостен к некрасивым носам и невыразительным глазам. Он испытывал какое-то болезненное сострадание к горбунам; всякий раз, когда он указывал мне на одного из этих несчастных, я невольно бросал взгляд анатома на стройную спину Ораса и чувствовал, что по ней пробегает дрожь от втайне ощущаемого удовольствия; а между тем на лице его играла улыбка, выражавшая полное равнодушие к столь пустому преимуществу, как хорошее телосложение. Если кому-нибудь случалось заснуть в неловкой или смешной позе, Орас первый начинал смеяться. И невольно я обращал внимание – когда он жил у меня или когда я заставал его спящим дома, – что сам он всегда спал красиво, откинув руку или подложив ее под голову, как бы подражая античной статуе; и вот это, казалось бы, невинное наблюдение помогло мне понять его естественное, иными словами – врожденное, притворство, о котором шла речь. Даже во сне, даже без сви-

детелей и без зеркала Орас старался принимать благородную позу. Один из наших товарищей ехидно утверждал, что он позирует перед мухами.

Да простят мне все эти подробности. Я остановился на них, так как полагал это необходимым, и теперь возвращаюсь к описанию первых наших встреч.

Глава II

На следующий день я спросил у Ораса, почему бы, раз уж он чувствует такое отвращение к праву, не заняться ему изучением какой-нибудь другой науки.

– Дорогой мой, – ответил он с самоуверенностью, не свойственной его возрасту и словно позаимствованной у сорокалетнего человека, умудренного опытом, – сейчас существует лишь одна профессия, которая открывает путь ко всему, – это профессия адвоката.

– А что вы называете *всем*? – спросил я.

– В наше время, – ответил он, – звание депутата – это все. Но погодите немного, и мы увидим кое-что иное!

– Так вы рассчитываете на новую революцию? А если ее не будет, то как же вы станете депутатом? Быть может, у вас есть состояние?

– Не совсем так, но оно у меня будет.

– Отлично. В таком случае важно лишь получить диплом, а заниматься адвокатской практикой вам не придется.

Я искренно поверил, что он располагает состоянием, достаточным для того, чтобы оправдать его самонадеянность. Несколько мгновений он колебался; потом, не решаясь ни подтвердить мое заблуждение, ни сразу его рассеять, он продолжал:

– Придется заняться адвокатской практикой, чтобы приобрести известность... Несомненно, года через два способные люди получают возможность выставлять свою кандидатуру; нужно, следовательно, доказать свои способности.

– Два года? Мне кажется, это маловато; к тому же, чтобы получить звание юриста и доказать свои способности, вам потребуется вдвое больше времени; да и тогда вы еще не достигнете возраста...

– Неужели вы думаете, что к следующим выборам возрастной ценз^[7] не будет снижен?..

– Думаю, что нет; но в конце концов это вопрос времени; и я полагаю, что если уж вы так твердо решили, то рано или поздно добьетесь своего.

– Не правда ли, этого достаточно, чтобы добиться цели! – сказал он с радостной улыбкой, горделиво сверкнув глазами. – И с каких бы низов ты ни начал восхождение, все равно можно достигнуть вершин общества, если в душе у тебя живет мысль о будущем.

– Не сомневаюсь в этом, – ответил я, – главное – знать, много ли препятствий впереди, но это тайна Провидения.

– Нет, дорогой мой! – воскликнул он, дружески беря меня под руку. – Главное – знать, обладаешь ли ты волей достаточно сильной, чтобы преодолеть все препятствия; а у меня, – добавил он, с силой ударив себя в грудь, – у меня она есть!

Беседуя, мы поравнялись с палатой пэров. Казалось, что Орас вот-вот начнет расти на глазах, подобно сказочному великану. Я взглянул на него и заметил, что, несмотря на преждевременно отпущенную бороду, округлые линии лица выдавали его крайнюю молодость. Его восторженное честолюбие еще больше подчеркивало этот контраст.

– А сколько, собственно, вам лет? – спросил я.

– Угадайте, – сказал он с улыбкой.

– На первый взгляд вам двадцать пять, – ответил я. – Но возможно, вам нет и двадцати.

– Действительно нет. Что же из этого следует?

– Что ваша воля не старше двух-трех лет, и, следовательно, она еще очень молода и неустойчива.

– Ошибаетесь! – воскликнул Орас. – Моя воля родилась вместе со мною. Мы ровесники.

– Это верно, если говорить о врожденной черте характера. Но все же, я полагаю, у вас было не так уж много случаев проявить свою волю на политическом поприще! Не может быть,

чтобы вы уже давно всерьез мечтали о депутатском кресле; да и вообще – давно ли вы узнали, что такое депутат?

– Будьте уверены, я узнал это так рано, как только возможно для ребенка. Едва лишь начал я понимать смысл слов, как почувствовал, что в этом слове таится для меня нечто магическое. Это предзнаменование, поверьте; моя судьба стать парламентским деятелем. Да, да, я буду говорить и заставлю других говорить о себе!

– Пусть так! – ответил я. – Данные у вас есть: это дар Божий. А пока занимайтесь теорией.

– Что вы имеете в виду? Право? Крючкотворство?

– О! Если бы только это! Я хочу сказать: займитесь изучением гуманитарных наук: истории, политики, различных религий, и тогда уже решайте, сопоставляйте, формируйте убеждения...

– Вы хотите сказать – идеи? – перебил он с торжествующей убежденностью в улыбке и взгляде. – Идеи у меня уже есть; и, если хотите знать, я думаю, что лучших у меня никогда и не будет, – ибо идеи наши порождаются чувствами, а все мои чувства возвышенны! Да, сударь, Небо наделило меня возвышенной и доброй душой. Я не знаю, какие испытания оно мне готовит, но могу сказать с гордостью, над которой способны смеяться только глупцы, что чувствую себя великодушным, отважным, мужественным; душа во мне содрогается и кровь кипит при одной мысли о несправедливости. Все великое опьяняет меня до иступления. Я не кичусь и не могу, мне кажется, кичиться этим, но говорю с уверенностью: я из породы героев.

Я не мог сдержать улыбку, но Орас, наблюдавший за мной, понял, что в ней не было и тени неприязни.

– Вас удивляет, – сказал он, – что, едва успев познакомиться с вами, я даю волю чувствам, которые люди обычно скрывают даже от лучшего друга? Вам кажется, что это свидетельствует о большей их скромности?

– Нет, конечно, – только о меньшей их искренности.

– Прекрасно! Тогда не смейтесь надо мною. Я считаю, что я лучше, чем все эти лицемеры, *in petto*¹ мнящие себя полубогами и притворно склоняющие головы, изображая стыдливость, якобы требуемую хорошим тоном. Все они эгоисты и честолюбцы в самом полном и отвратительном смысле слова. Вместо того чтобы открыто проявлять воодушевление, которое встретило бы широкий отклик и привлекло к себе все высокие умы, все смелые сердца (разве не так совершаются великие революции?), они втайне любят свое ничтожное превосходство и, боясь напугать других, скрывают его от ревнивых взоров, чтобы ловко воспользоваться им в тот день, когда обеспечат себе положение. Уверю вас, эти люди годны лишь на то, чтобы наживать деньги и занимать места в продажных правительствах; люди же, ниспровергающие тиранию, те, кто будит смелые страсти и приводит мир в глубокое и благородное волнение – Дантоны^[8], Мирабо^[9], Питты^[10], – да разве прибежали они когда-нибудь к ужимкам ложной скромности?

В его словах была доля истины, и говорил он так убежденно, что мне не пришло в голову возражать ему, хотя по своему воспитанию и по натуре я терпеть не могу самомнения. Но Орас обладал одной особенностью: пока вы видели и слушали его, вы неизбежно покорялись обаянию его голоса и жестов. Стоило же вам расстаться с ним, и вы сами удивлялись, как можно было тотчас же не опровергнуть его заблуждений; однако при новой встрече вы опять поддавались притягательной силе его парадоксов.

В тот раз я простился с ним, пораженный необычностью его природы, и спрашивал себя: «Кто он? Безумец или гений?» Пожалуй, я склонялся ко второму мнению.

– Раз вы так любите революцию, – сказал я ему на следующий день, – вы, должно быть, сражались в прошлом году в июльские дни?

¹ В глубине души (*int.*).

– Увы! Я уезжал на каникулы, – ответил он. – Но и там, в глухой провинции, я не бездействовал, и если мне удалось избежать опасности, не моя в том вина. Я состоял в добровольческой городской гвардии; она должна была закрепить победу. Ночи мы проводили в карауле, с ружьем на плече, и если бы старый режим сопротивлялся, если бы против нас, как мы ожидали, были посланы войска, – надеюсь, мы вели бы себя лучше, чем все эти старые лавочники, которые позднее, когда правительство организовало национальную гвардию, были допущены в ее ряды. Они притаились в своих лавках, пока исход событий был еще не ясен; мы же ходили дозором вокруг города и оберегали их от нападения реакционеров. А две недели спустя, когда опасность миновала, они проткнули бы нас штыками, если бы мы закричали: «Да здравствует свобода!»

В тот день, проболтав с ним довольно долго, я предложил ему остаться со мной и пообедать вместе на улице Старой Комедии у Пенсона, самого честного и радушного ресторатора в Латинском квартале.

Я угостил его на славу, к тому же кормили у Пенсона поистине превосходно – сытно и недорого. Его ресторанчик был местом свидания всех честных студентов и молодых людей, жаждавших литературной славы. С тех пор как коллега и соперник Пенсона Даньо, офицер конной национальной гвардии, проявил чудеса храбрости при подавлении восстания, целая фаланга студентов, его завсегдаев, поклялась не переступить порога его владений и обратилась к более сочным котлетам и толстым бифштекам миролюбивого и приветливого Пенсона.

После обеда мы отправились в Одеон посмотреть госпожу Дорваль и Локруа в «Антони»^[11]. С этого дня знакомство было закреплено, и между нами завязалась тесная дружба.

– Итак, – сказал я ему в антракте, – вы находите медицину еще более отталкивающим занятием, нежели юриспруденцию?

– Дорогой мой, – ответил он, – признаюсь, я не понимаю, как можно чувствовать призвание к такой профессии, как ваша. Может ли быть, чтобы вы ежедневно погружали свои руки, свой взор, свою мысль в человеческую пададь, не теряя при этом чувства поэзии и свежести воображения?

– Оперировать живых, – сказал я, – пострашнее, чем резать трупы: тут нужно больше мужества и решительности, уверяю вас. Вид самого отвратительного трупа причиняет меньше страданий, чем первый крик боли, исторгнутый из груди несчастного ребенка, который не понимает, зачем вы делаете ему больно. Это ремесло мясника, если не видеть в нем миссию апостола.

– Говорят, будто это ремесло сушит сердце, – продолжал Орас. – Разве вам не страшно, что, увлеченный наукой, вы забудете о человечестве, как это случилось со многими великими анатомами? Все восхваляют их, а я отворачиваюсь, как если бы встретил палача.

– Надеюсь, – ответил я, – что сумею быть достаточно хладнокровным, чтобы приносить пользу, не теряя при этом чувства сострадания и любви к человеку. Мне далеко еще до настоящего спокойствия, но все же я не боюсь, что сердце мое очерствеет.

– Допустим. Но в конце концов чувства притупляются, воображение слабеет, ощущение прекрасного и безобразного пропадает; в жизни начинаешь видеть лишь материальную сторону, где все идеальное сводится к соображениям пользы. Случалось ли вам слышать о враче-поэте?

– Я мог бы, в свою очередь, спросить вас, много ли вы знаете депутатов-поэтов? Сдается мне, что политическая карьера в том виде, в каком мы наблюдаем ее в наши дни, тоже не способствует живости поэтического чувства и воображения.

– Будь общество перестроено, – воскликнул Орас, – политическая карьера сулила бы широчайший простор для развития сильных умов и чувствительных сердец; но в наше время этот путь, несомненно, приводит к черствости. Когда я подумую, что для понимания соци-

альных законов, где все зиждется на философии, я должен знать кодекс^[12] и дигесты^[13], изучать Потье, Дюкоруа и Рогрона^[14], – словом, работать до одурения; что, наконец, для того, чтобы сблизиться с толпой современников, мне придется опуститься до ее уровня... О, тогда я серьезно подумываю, не уйти ли от политики!

– Но что в таком случае станете вы делать с вашим бьющим через край энтузиазмом, с непомерным величием души? Какое применение найдете для своей железной воли, в которой я на днях позволил себе усомниться, за что вы упрекнули меня?

Он охватил голову обеими руками, облокотился на перила, отделявшие партер от оркестра, и погрузился в раздумье, продолжавшееся до тех пор, пока не подняли занавес. Весь третий акт «Антони» он смотрел с величайшим вниманием и волнением.

– А страсти?! – воскликнул он, едва закончился акт. – Какое место уделяете вы страстям в нашей жизни?

– Вы говорите о любви? – спросил я. – Жизнь, какой мы сами ее сделали, требует отдавать любви все или ничего. Желание быть одновременно любовником, подобным Антони, и гражданином, подобным вам, неосуществимо. Нужно выбирать.

– Именно об этом я и думал, когда слушал Антони, столь презирающего общество, озлобленного против него, восставшего против всего, что препятствует его любви... А вы любили когда-нибудь?

– Может быть. Но разве это важно? Спросите у собственного сердца, что такое любовь.

– Накажи меня бог, если я имею об этом хоть малейшее представление, – воскликнул он, пожимая плечами. – Разве было у меня время любить? Разве я знаю, что такое женщина? Я чист, дорогой мой, чист, как младенец! – прибавил он, раздражаясь добродушным смехом. – Можете презирать меня, но признаюсь, что до сих пор женщины внушали мне скорее страх, чем желание. А между тем у меня уже большая борода и большие запросы, которые трудно удовлетворить. Что ж! Именно это и предохранило меня от грубых заблуждений, в какие впадают мои товарищи. Я не встретил еще той идеальной девы, ради которой мое сердце дало бы себе труд забиться сильнее. А несчастные гризетки, которых подбирают в Шомьере или в других злочных местах, возбуждают во мне такую жалость, что даже ради всех наслаждений рая я не желал бы упрекать себя за соращение одного из этих ошипанных ангелов. И потом, эти ручищи, эти вздернутые носы, этот жаргон, вопреки своим несчастьем, да еще в письмах, читая которые можно умереть со смеху. Тут нельзя даже испытывать серьезные угрызения совести. О, если уж я предамся любви, я хочу, чтобы она потрясла меня, воспламенила, поразила в самое сердце или вознесла до небес и опьянила страстью. Никакой середины! Одно или другое; либо и то и другое, если угодно! Но только не драмы на задворках лавчонок, не победы в дешевых кафе! Я согласен страдать, согласен безумствовать, согласен отравиться вместе с возлюбленной или заколоть себя над ее трупом, но я не хочу быть смешным, а главное – не хочу почувствовать скуку в самый разгар трагедии и завершить ее жалким фарсом. Товарищи издеваются над моей невинностью, они разыгрывают передо мной донжуанов, чтобы соблазнить или ослепить меня; и, уверяю вас, делают это зря. Я желаю им всяческих удовольствий, но для себя предпочитаю что-нибудь иное. О чем вы думаете? – добавил он, заметив, что я отворачиваюсь, не в силах удержаться от смеха.

– Я думаю, – сказал я, – о том, что завтра со мной будет завтракать одна очень милая гризетка, которой я хотел бы вас представить.

– О! Упаси бог от такого рода развлечений! – воскликнул он. – У меня и без того есть несколько друзей, которых я обречен видеть лишь в неизбежном обществе их двухнедельных подруг. Я знаю наизусть лексикон этих самок. Фи! Вы шокируете меня, а я-то считал вас менее легкомысленным, чем вся эта беспутная компания. Целую неделю я избегал их, чтобы видаться с вами; я думал, вы человек серьезный, с более высокими требованиями, чем у других студен-

тов, и вдруг оказывается, что даже у вас есть подобная женщина, даже у вас! Боже мой, куда мне скрыться, чтобы не встречать этих женщин!

– И все же с моей подругой вам придется познакомиться. Я настаиваю на этом и завтра явлюсь за вами сам, если вы не придете, чтобы вместе с нею позавтракать у меня.

– Если она вам надоела, предупреждаю – я не из тех, кто может вас от нее избавить.

– Дорогой мой Орас, должен вас успокоить и заверить, что если даже вы пожелаете избавиться ее от меня, то сперва вам придется перерезать мне горло.

– Вы говорите серьезно?

– Совершенно серьезно.

– В таком случае принимаю ваше приглашение. Приятно будет посмотреть вблизи на истинную любовь...

– К гризетке. Вас это удивляет, не правда ли?

– Что ж, если хотите, да. Действительно удивляет. Я видел только одну женщину, которую мог бы полюбить, будь она лет на двадцать моложе. Это была знатная вдова, владелица замка, некогда красивая и еще не успевшая поседеть; она говорила, двигалась, принимала и провожала гостей с такой грацией, что по сравнению с ней все женщины, каких я до нее видел, показались мне разве что пригодными пасти гусей. Эта дама принадлежала к старинному роду; у нее была осиная талия, руки Рафаэлевой мадонны, ножки сильфиды, лицо мумии и язык змеи. И я поклялся, что никогда не возьму в любовницы молодую, обаятельную и красивую женщину, если только у нее не будет таких ножек и ручек, а главное – таких аристократических манер и такого обилия белых кружев на золотистых волосах.

– Дорогой мой Орас, – сказал я ему, – не скоро еще вы полюбите, а возможно, не полюбите никогда.

– Да услышит вас Бог! – воскликнул он. – Если я полюблю хоть раз, я погиб. Прощай тогда политическая карьера, прощай моя большая, суровая будущность! Ничего не умею делать наполовину. Посмотрим, стану ли я оратором, поэтом или влюбленным!

– А что, если для начала нам стать студентами? – сказал я.

– Увы! Легко вам говорить! – ответил он. – Вы и студент и влюбленный. Я же не люблю, а учусь и того меньше...

Глава III

Орас возбуждал во мне живейший интерес. Я отнюдь не был убежден в существовании той героической силы и того сурового энтузиазма, которые в простоте душевной он себе приписывал. Мне он казался хорошим малым, искренним, чистосердечным, скорее способным увлекаться прекрасными мечтами, чем претворить их в жизнь. Но я полюбил его за искренность и постоянное стремление ко всему возвышенному, для чего мне вовсе не нужно было непременно видеть в нем героя. В этой прихоти не было ничего отталкивающего: она лишь доказывала его любовь к прекрасному идеалу. «Одно из двух, – говорил я себе, – либо ему суждено стать выдающимся человеком, и тайный инстинкт, которому он бесхитростно следует, подсказывает ему это, либо он просто славный молодой человек; и когда его юношеский пыл остынет, в нем неожиданно проявятся кроткая доброта и спокойная совесть, оживляемые редкими вспышками энтузиазма».

Пожалуй, этот нравственный облик мне нравился больше. Я был бы больше уверен в Орасе, если бы он отказался от своего простодушного фатовства, не утратив при этом любви к добру и красоте. Выдающегося человека ждет трагическая участь. Препятствия ожесточают его, а гордость его обычно так велика и неукротима, что может повести его по ложному пути и обратить во зло силы, данные ему Богом для свершения добра. Но, так или иначе, Орас мне нравился и привлекал к себе. Проявится в нем сила – тогда я последую за ним; окажется он слабым – я подожду его. Я был старше его на пять-шесть лет и наделен более спокойным характером; планы мои на будущее уже определились, оно не вызывало у меня тревоги. В пору страстей нежная, искренняя любовь охранила меня от ошибок и страданий. Я чувствовал, что выпавшее на мою долю счастье – бесценный дар Провидения, что я недостаточно заслужил право пользоваться им безраздельно и обязан поделиться с кем-нибудь своим душевным спокойствием, предложив его как целительное средство другой душе, легко возбудимой или озлобленной. Я рассуждал как врач, но действовал из самых добрых побуждений, и – да не будет это повторением невинной похвальбы моего бедного Ораса – скажу, что я тоже был добр и более отзывчив, чем умел это выразить.

Единственной чертой в моем новом друге, казавшейся мне совершенно нелепой и достойной осуждения, было его тяготение к женщинам аристократического круга, особенно смешное у него, яркого республиканца, уж наверное плохого судьи в вопросе хороших манер, но подчеркнуто презиравшего простое и грубое обращение, от которого сам он, разумеется, был не так уж свободен, как стремился изобразить.

Я решил познакомить его с Эжени, и чем скорее, тем лучше, воображая, что общение с этой простой и благородной девушкой произведет переворот в его мыслях или, по крайней мере, придаст им более разумное направление. Он увидел ее, был очарован ее приветливостью, но она показалась ему вовсе не такой красивой, какой должна была быть, по его мнению, женщина, способная внушить настоящее чувство.

– Она мила, и только, – сказал он мне в дверях, – но она, должно быть, необычайно умна?

– Скорее рассудительна, чем умна, – ответил я, – а бывшие подруги считали ее совсем дурочкой.

Эжени подала нам скромный завтрак, который сама приготовила, и это прозаическое занятие покорило возвышенную душу Ораса. Но когда она села между нами и принялась угощать его с изысканной учтивостью и непринужденностью, он преисполнился уважением к ней и начал вести себя по-иному. До этого момента он подавлял мою бедную Эжени весьма остроумными парадоксами, не вызывавшими, однако, у нее улыбки, что, впрочем, он воспринял как знак восхищения. Когда же он увидел в ней судью, а не предмет для насмешек, он стал серьезен и так же усердно пытался выглядеть солидным, как раньше старался казаться легко-

мысленным. Но было уже поздно. На требовательную Эжени он произвел неприятное впечатление; правда, она никак этого не показала и, едва завтрак был окончен, села в дальнем углу комнаты и принялась шить, словно была самой обыкновенной гризеткой. Орас почувствовал, что все его уважение пропало так же быстро, как и возникло.

Моя небольшая квартира на набережной Августинцев состояла из трех комнат и обходилась мне в триста с лишним франков в год. Я сам обставил ее. Для студента это была роскошь. У меня была столовая, спальня, а между ними рабочий кабинет, который я пышно именовал салоном. Туда мы перешли пить кофе. Увидев сигары, Орас бесцеремонно закурил одну из них.

– Простите, – сказал я, беря его за руку. – Эжени это неприятно; я курю только на балконе.

Он не преминул извиниться перед Эжени за свою рассеянность, но в глубине души был удивлен, увидев, как я почтителен к женщине, которая в тот момент подрубала мои галстуки.

Балкон мой завершал собою верхний этаж здания. Эжени затенила его вьюнком и душистым горошком, посеянным в двух кадках с апельсиновыми деревьями. Апельсины были в цвету, несколько горшков с фиалками и резедой дополняли убранство моего *дивана*. Я предоставил в распоряжение Ораса кусок старой обивки, заменявшей мне восточный ковер, и кожаную подушку, на которую обычно опирался, когда курил, наслаждаясь при этом, как настоящий паша. Оконное стекло отделяло *диван* от кабинета, в котором работала Эжени. Таким образом я видел ее, был вместе с ней, и в то же время дым моей трубки не беспокоил ее. Когда она увидела на ковре вместо меня Ораса, она незаметно опустила муслиновую занавеску, как бы защищаясь от солнца, на самом же деле из скромности, которую Орас не мог не оценить. Я сел позади него на одну из кадок. На узкой террасе едва хватало места для двух человек да четырех-пяти горшков с цветами; отсюда нашим взорам открывались красавица Сена, позолоченный солнцем фасад Лувра, словно врезанный в синеву небес, все мосты и набережные до самой больницы Отель-Дье. Прямо напротив нас церковь Сен-Шапель возносила свои темно-серые шпили и остроконечный фронтоном над домами острова Ситэ. Немного дальше вздымались к небу четыре исполинские льва прекрасной башни Сен-Жак-ла-Бушери, а справа картину замыкал своей изящной и внушительной громадой Собор Богоматери. Вид был чудесный: с одной стороны – прославленные памятники и живописный беспорядок старого Парижа; с другой – Париж Возрождения, сливающийся с Парижем Империи, – творение Медичи, Людовика Четырнадцатого и Наполеона. Каждая колонна, каждая дверь была страницей истории французского королевства.

Мы только что прочли новый роман, «Собор Парижской Богоматери», и, подобно всем людям или, по крайней мере, подобно всей молодежи того времени, безотчетно поддавались очарованию поэзии этого романтического произведения, озарившего новым светом древние красоты нашей столицы. Словно волшебная краска оживила поблекшие воспоминания; благодаря поэту мы смотрели на кровли старых зданий, разглядывали причудливые формы и живописные детали глазами, какими не могли смотреть наши предшественники, студенты Реставрации или Империи. Орас был увлечен Виктором Гюго. Он исступленно любил все его странности и дерзания. Я не спорил, хотя и не всегда соглашался с ним. Мои вкусы и склонности влекли меня к более спокойным формам, к живописи с менее жесткими линиями, с менее резкими тенями. Я сравнивал Гюго с Сальватором Розой^[15], – очами воображения тот также видел больше, чем очами науки. Но к чему было затевать с Орасом войну из-за слов и образов! Не в девятнадцать лет бояться выражений, смело обнажающих чувство, и не в двадцать пять лет осуждать их. Нет, счастливая молодость отнюдь не педантична; она никогда не находит слов достаточно убедительных, чтобы выразить то, что сама испытывает с такой силой. И велика заслуга поэта, если он сумел придать своим мыслям столь всеобъемлющую, столь яркую форму, что почти целое поколение взглянуло на мир его глазами и увлеклось переживаниями, которые его вдохновили!

Было так: наиболее косные из нас, те, кому для освежения восприятия необходимо было после «Собора Парижской Богоматери» прочесть страничку из «Павла и Виргинии»^[16] или, как сказал один утонченный критик, припомнить самый «кристальный» из сонетов Петрарки^[17], все же охотно надевали на свои изнеженные глаза эти очки с пестрыми стеклами, сквозь которые можно было увидеть так много нового; а насладившись волнующим зрелищем, неблагодарные заявляли: какие странные очки! Что ж, странные, если угодно: но разве без этой причуды художника вы разглядели бы хоть что-нибудь вашим невооруженным глазом?

Под натиском моей критики Орас шел на ничтожные уступки, я же отступал значительно дальше перед его восторгами; и после спора наш взор, следуя за полетом ласточек и ворон, пронесившихся у нас над головою, отдыхал вместе с ними на башнях собора Богоматери, неизменном предмете нашего созерцания. Он получал и от нас свою долю любви, этот старый собор; так забытая красавица вновь входит в моду, вновь вокруг нее теснится толпа, едва обретет она нового поклонника, горячие восхваления которого возвращают ей молодость.

Я не собираюсь превращать рассказ о своей юности в критический разбор целой эпохи: это было бы мне не по силам; но, вспоминая эти дни, я не могу не сказать о том, какое действие оказывали некоторые книги на Ораса, на меня, на всех нас. Они были частью нашей жизни, как бы частью нас самих. Я не мог бы отделить в своей памяти поэтические впечатления отрочества от чтения «Рене» и «Аталы»^[18].

В разгар наших романтических споров кто-то позвонил. Эжени дала мне об этом знать, легонько постучав в окно, и я пошел открыть дверь. Это был ученик из школы живописи Эжена Делакруа^[19] по имени Поль Арсен; в той мастерской, где я ежедневно читал художникам курс анатомии, его прозвали маленьким Мазаччо^[20].

– Привет синьору Мазаччо, – сказал я и представил его Орасу, который окинул презрительным взглядом его перепачканную блузу и растрепанные волосы. – Вот юный мастер, который, как уверяют, далеко пойдет, а пока что он пришел звать меня на лекцию.

– Нет, еще рано, – ответил Поль Арсен, – у вас целый час впереди; я пришел поговорить с вами о деле, которое касается только меня. Найдется ли у вас время выслушать меня?

– Разумеется, – ответил я, – а если мой друг мешает, он выйдет на балкон, покурит.

– Нет, – возразил молодой человек, – у меня нет никаких секретов. Ум хорошо, а два лучше, и я не возражаю, чтобы этот господин тоже послушал.

– Присаживайтесь, – сказал я и направился в соседнюю комнату за четвертым стулом.

– Не беспокойтесь, – остановил меня художник, взбираясь на низенький комод; он положил фуражку на колени, вытер клетчатым платком мокрое от пота лицо и, свесив ноги и наклонившись в позе *Pensieroso*^[21], произнес следующие слова:

– Сударь, я намерен бросить живопись и серьезно заняться медициной, – говорят, она обеспечивает более прочное положение; вот я и пришел посоветоваться с вами.

– На такой вопрос, – сказал я, – ответить труднее, чем вы думаете. Мне кажется, в любой профессии занято сейчас слишком много людей и, следовательно, любое положение, как вы выразились, весьма ненадежно. Большие познания и трудоспособность сами по себе еще не обеспечивают будущности; одним словом, я не вижу, почему бы медицина оказалась для вас выгоднее, чем искусство? Наилучшим является тот выбор, который отвечает нашему призванию; а поскольку у вас, как говорят, незаурядные способности к живописи, я не понимаю, почему она так скоро вам надоела.

– Надоела? О нет! – возразил Арсен. – Она мне совсем не надоела, и если бы можно было зарабатывать на жизнь, занимаясь живописью, я предпочел бы ее всему остальному, но, кажется, это будет еще не скоро, очень не скоро! Патрон говорит, что нужно рисовать натуру, по меньшей мере, два года, прежде чем взяться за кисть. А потом как будто и маслом придется поработать года два-три, прежде чем можно будет послать картину на выставку. И даже если ее примут, этим не многого добьешься. Сегодня утром я был в музее; я думал, что все будут оста-

навливаться перед картиной патрона, – в конце концов, он мэтр, он знаменитость! И что же? Половина посетителей даже не взглянула на нее, все спешили посмотреть на портрет какого-то господина в артиллерийской форме, у которого были совершенно деревянные руки и лицо словно из картона. Ну, эти еще куда ни шло: все они просто жалкие невежды; но вот пришли молодые художники, ученики из различных мастерских; каждый высказывался: одни ругали, другие восхищались; но ни один не сказал того, что я хотел бы услышать. Ни один ничего не понял. Тогда я сказал себе: к чему создавать произведения искусства для публики, которая все равно ничего в них не видит и ничего не смыслит? Это было хорошо в доброе старое время! Нет, я займусь другим ремеслом, лишь бы оно давало мне деньги.

– Вот грязный болван! – шепнул мне на ухо Орас. – Его душа не чище его блузы!

Я не разделял презрения Ораса. Я почти не знал Мазаччо, но слышал, что он малый умный и работающий. Господин Делакура очень ценил его, и товарищи относились к нему с любовью и уважением. Должно быть, за этой наивной жадностью скрывалась какая-то непонятная мне причина; но так как он предупредил, что не собирается сообщать никаких тайн, я понял, что в эту тайну проникнуть нелегко. Достаточно было взглянуть на лицо Мазаччо и присмотреться к тому, как он держал себя, чтобы убедиться в его упорстве и вместе с тем почувствовать, что им движут совсем не низменные побуждения.

Это был как бы сам народ, воплощенный в одном человеке, но не мирный, здоровый народ земледельцев, а народ ремесленников – хилый и отважный, смысленный и проворный. Словом, молодой художник не был хорош собой. Однако о таких, как он, товарищи по мастерской говорят: «Его лицо так и просится на полотно, замечательная получилась бы вещь!» Действительно, в его лице, несмотря на грубые черты, было что-то необычное. Я не видел выражения более энергичного и одухотворенного. Глаза у него были маленькие, бесцветные и как бы прищуренные, но взгляд такой пламенный и острый, что, казалось, все пронизывал насквозь. Нос был короткий, и слишком маленькое расстояние от углов глаз до ноздрей на первый взгляд придавало всему лицу простоватый и даже вульгарный вид. Но это впечатление тут же рассеивалось. Если и было в его внешнем облике что-то от раба или вассала, то в душе таился гений независимости, иногда прорывавшийся вспышками молний. Рот неправильной формы, с толстыми губами, оттененный пробивающимися черными усиками, прямой, узкий, слегка раздвоенный подбородок, широкие выдающиеся скулы – все эти прямые и жесткие плоскости, пересеченные резкими линиями, эти угловатые контуры лица выражали неукротимую волю и непреклонную прямооту намерений. В рисунке его ноздрей последователь Лафатера^[22] увидел бы много для себя интересного, а его лоб, великолепный с точки зрения скульптора, был бы не менее любопытен для френолога. Я сам, со всем пылом молодости занимавшийся научными изысканиями, не мог вдоволь на него насмотреться; а проводя занятия по анатомии в мастерской, всегда невольно обращался к этому юноше, казавшемуся мне олицетворением ума, смелости и доброты.

Поэтому, признаюсь, мне было больно услышать из его уст такие пошлости.

– Как, Арсен, – сказал я, – неужели вы бросили бы живопись, если бы другое занятие дало вам на несколько франков больше?

– Да, сударь, я поступил бы именно так, – ответил он без малейшего смущения. – Если б я был уверен, что заработаю чистыми тысячу франков в год, я стал бы сапожником.

– Такое же искусство, как всякое другое, – с презрительной усмешкой заметил Орас.

– Это вовсе не искусство, – холодно возразил Мазаччо. – Это ремесло моего отца, и я справился бы с ним не хуже других. Но оно не даст столько денег, сколько мне нужно.

– А много ли вам нужно денег, бедный мой друг? – спросил я.

– Я же сказал, мне надо зарабатывать тысячу франков; а я расходую пятьсот и ничего не зарабатываю.

– Но как можете вы в таком случае думать об изучении медицины? Ведь вам понадобится не меньше тридцати тысяч франков на годы учения и на то время, когда у вас еще не будет достаточно пациентов. А потом...

– А потом, вы даже школы не окончили, – сказал Орас, раздраженный моей терпеливостью.

– Это верно, – сказал Арсен, – но я окончу ее или, по крайней мере, заменю чем-нибудь равноценным. Я засяду в своей комнате на хлеб и воду и, несомненно, за неделю выучу то, что школьники учат месяц. Ведь школьники не очень-то прилежны; ребенком играешь, тратишь время попусту, а когда тебе двадцать лет и ты стал разумнее, да к тому же знаешь, что надо торопиться, – поневоле будешь спешить. Но из ваших слов о том, что сулит бедняку медицинский факультет, я отлично вижу – мне не быть врачом. А если стать адвокатом?

Орас расхохотался.

– Осторожней, а то еще надорветесь, – спокойно сказал Арсен, оскорбленный паясничаньем Ораса.

– Дорогой мой, – возразил я, – откажитесь от всех этих планов, в вашем возрасте они неосуществимы. Вы можете выбрать лишь искусство или ремесло. И ни то ни другое не даст вам уверенности в будущем, если у вас нет денег или кредита. Что бы вы ни решили, вам нужны время, терпение и покорность судьбе.

Арсен вздохнул. Я решил отложить расспросы до другого раза.

– Вы рождены быть художником, это несомненно, – продолжал я. – В искусстве вы скорее добьетесь успеха.

– Нет, сударь, – ответил он, – стоит мне поступить в какой-нибудь галантерейный магазин, и я завтра же заработаю деньги.

– Вы можете стать даже лакеем, – добавил Орас, возмущаясь все больше и больше.

– Мне бы этого очень не хотелось, – сказал Арсен, – но если не останется ничего иного...

– Арсен! Арсен! – воскликнул я. – Это было бы огромным несчастьем для вас и потерей для искусства. Неужели вы не понимаете, что большой талант – это великий долг, налагаемый на человека самим Провидением?

– Прекрасные слова, – сказал Арсен, сверкнув глазами. – Но есть другие обязанности, кроме долга перед самим собою. Ну, так и быть! Пойду скажу в мастерской, что вы будете в три часа, ладно?

Он спрыгнул с комода, молча пожал мне руку и, едва кивнув Орасу, проворно, как кошка, сбежал по лестнице, останавливаясь, однако, на каждой площадке, чтобы поправить спадавшие с ног стоптанные башмаки.

Глава IV

Поль Арсен снова пришел ко мне, и, когда мы остались наедине, я добился, хоть и не без труда, признания, которого ожидал. Он начал следующими словами рассказ о своей жизни:

– Как я уже говорил вам, сударь, мой отец – сапожник. Жили мы в провинции. Нас было пятеро детей; я третий. Старший брат был уже взрослым, когда отец, который на старости лет мог уже оставить ремесло и жить на небольшие сбережения, женился вторично. Жена его не была ни хороша, ни добра, ни молода, ни богата, но все же подчинила его себе и пустила по ветру его деньги, а с ними и честь. Отец, обманутый, несчастный, любил ее тем сильнее, чем больше она давала ему поводов для ревности; чтобы забыться, он запил, как это случается с людьми нашего сословия, когда у них горе. Бедный отец! Мы долго выносили все это, потому что искренно его жалели. Ведь мы помнили его разумным и добрым! Наконец пришло время, когда терпеть дольше стало невозможно. Его характер так изменился, что за каждое неосторожное слово, за каждый взгляд он бросался на нас с кулаками. Мы были уже не дети и не могли больше с этим мириться. К тому же в свое время к нам относились мягко, нежно, и подобный семейный ад был для нас непривычен. А тут еще ему вздумалось приревновать жену к моему старшему брату. Мачеха действительно с ним заигрывала – он был красивый, славный парень; брат пригрозил, что все расскажет отцу, но она опередила его, как в трагедии «Федра»^[23], которую я с тех пор не могу слушать без слез. Она приписала моему бедному брату собственные греховные помыслы. Тогда он пошел в рекруты за другого и уехал. Второй брат, опасаясь, как бы и его не постигла та же участь, отправился в Париж искать счастья, пообещав вызвать меня, как только найдет какие-нибудь средства к существованию. Я же остался дома с двумя сестрами и жил сравнительно спокойно, так как решил никогда не отвечать этой злой женщине, сколько бы они ни кричала. Я всегда был чем-нибудь занят: в школе я учился довольно хорошо и когда не помогал в лавке отцу, то читал или марал бумагу, потому что меня всегда тянуло к рисованию. Правда, я не думал, чтобы это занятие когда-нибудь пригодилось мне, и времени уделял ему не много. Однажды какой-то заезжий художник, писавший в наших краях пейзажи, заказал отцу пару грубых башмаков, и меня послали к нему в гостиницу снять мерку. Весь стол в его комнате был завален альбомами. Я попросил разрешения посмотреть рисунки. Его удивила моя любознательность, он дал мне клочок бумаги и карандаш и предложил нарисовать человечка. Я думал, что он смеется надо мной, но соблазн поводить таким черным карандашом по такой гладкой бумаге был сильнее самолюбия. Я изобразил первое, что пришло в голову; он взглянул и не засмеялся. Он даже наклеил рисунок в свой альбом и подписал под ним мою фамилию, профессию и название нашего городка. «Напрасно вы остаетесь рабочим, – сказал он мне, – вы рождены для живописи. На вашем месте я бы все бросил и поехал учиться в какой-нибудь большой город». Он даже предложил мне уехать вместе с ним, это был добрый и великодушный молодой человек. Он дал мне свой парижский адрес, чтобы я мог его разыскать, если пожелаю. Я поблагодарил, но не посмел ни последовать за ним, ни поверить надежде, которую он во мне заронил. Я вернулся к своим заготовкам и колодкам, и еще год прошел без особых столкновений с отцом.

Мачеха меня ненавидела; однако я уступал ей во всем, и раздоры далеко не заходили. Но в один прекрасный день она обнаружила, что моя сестра Луизон, которой исполнилось пятнадцать лет, очень похорошела и что мужчины в нашем квартале стали на нее заглядываться. Тут она возненавидела Луизон, стала попрекать ее кокетством и даже кое-чем похуже. Между тем бедная Луизон была чиста, как десятилетний ребенок, и к тому же горда, как наша покойная мать. Вместо того чтобы вести себя смиренно, как я советовал, Луизон возмутилась, заспорила и пригрозила уйти из дому. Отец попытался заступиться за нее, но жена скоро взяла верх. Она разбранила Луизон, осыпала ее оскорблениями и – увы, сударь! – избила и ее, и маленькую

Сюзанну, когда та попыталась вступить за сестру и криком всполошить соседей. Тогда я взял сестер за руки, и мы все трое, пешком, без гроша в кармане, в чем были, под палящими лучами солнца вышли на большую дорогу, заливаясь горькими слезами. Я повел сестер к тетушке Генриетте, которая жила в десяти с лишком лье от нашего города, и сказал ей:

«Тетушка, прежде всего дайте нам поесть и попить, потому что мы умираем от голода и жажды; мы даже говорить не в силах».

А когда тетка накормила нас обедом, я объяснил ей все.

«Я привел к вам ваших племянниц, – сказал я, – если вы не оставите их у себя, им придется просить милостыню под окнами или вернуться домой и умереть от побоев. У нашего отца было пятеро детей, теперь у него не осталось никого. Мальчики выпутаются, они будут работать, но с девочками, если вы над ними не сжалитесь, случится то, что я вам сказал».

Тетушка ответила:

«Я очень стара, я очень бедна; но лучше я сама пойду побираться, чем брошу на произвол судьбы своих племянниц. К тому же они благоразумны, они прилежны, и мы все трое станем работать».

Уладив это дело, я взял двадцать франков, которые бедная женщина заставила меня принять, и отправился пешком в Париж. Я тут же разыскал второго брата, Жана, который устроил меня в мастерскую, где сам работал сапожником, а затем отправился к молодому художнику за советом. Он принял меня очень хорошо, предложил денег, но я отказался. На хлеб я мог себе заработать, но эта чертова живопись, которой он сбил меня с толку, так у меня из головы и не выходила, и каждое утро я вздыхал, раздумывая, насколько приятнее было бы орудовать карандашом или кистью, чем шилом. Я сделал кое-какие успехи, ибо, несмотря ни на что, продолжал рисовать и по воскресеньям целыми часами набрасывал какие-нибудь фигуры или копировал иллюстрации из старой книги, доставшейся мне от матери. Молодой художник поощрял меня, и я не нашел в себе мужества отказаться от уроков, которые он предложил мне давать бесплатно. Надо было как-то существовать, но на какие же средства? У художника нашелся знакомый литератор, который поручил мне переписку своих рукописей. У меня был, что называется, каллиграфический почерк, но грамматики я не знал. Для пробы мне продиктовали несколько строк, ошибок в них не оказалось. Я много читал и благодаря зрительной памяти научился писать почти грамотно, но правил я не знал и не смел сказать об этом из страха потерять работу. Впрочем, переписывая, я и вовсе не делал ошибок, что объяснялось исключительным моим вниманием. Внимание это требовало слишком много времени, и я убедился, что быстрее будет выучить грамматику, и засел за упражнения. Действительно, дело пошло на лад; но я все время недосыпал и в конце концов заболел. Жан забрал меня в свою комнату на чердаке, а сам стал работать за двоих. Те небольшие деньги, какие я заработал перепиской рукописей, ушли на оплату лекарств. Я не хотел, чтобы художник знал о моем положении. Я сам видел, как туго ему порой приходится, – ведь ни состояния, ни известности у него еще не было. Я знал, что по доброте сердечной он захочет мне помочь; и так как он уже не раз делал это против моего желания, я предпочел бы умереть на своей койке, чем снова вводить его в расходы. Он счел меня неблагодарным, а тут еще ему представился случай совершить путешествие по Италии, куда он давно стремился, – он уехал, не простившись со мной и, к моему большому огорчению, увозя обо мне дурное воспоминание.

Когда я немного оправился после болезни, я был поражен видом Жана: брат был невесело худ и измучен; я узнал, что сбережения наши истрачены и двери мастерской для нас закрыты, так как, ухаживая за мной, Жан много дней не ходил на работу. Это было в июле прошлого года, в самую дьявольскую жару.

Мы беседовали о своих невеселых домашних делах; я еще лежал и был настолько слаб, что с трудом понимал, о чем говорил мне Жан. В это время раздался пушечный выстрел, но мы даже не подумали о том, что же явилось его причиной. Дверь вдруг распахнулась, и вбе-

жали два наших товарища по мастерской, возбужденные и взъерошенные: они явились за нами, чтобы, как они выразились, всем вместе победить или погибнуть. Я спросил, о чем идет речь.

«О том, чтобы свергнуть короля и установить республику!» – ответили они.

Я соскочил с кровати, вмиг натянул старые штаны и рваную блузу, служившую мне халатом; Жан последовал за мной. «Лучше умереть от пули, чем от голода», – сказал он. И мы отправились.

Мы прибежали к двери какой-то оружейной лавки, где такие же молодые люди, как мы, раздавали ружья всем желающим. Каждый из нас взял по ружью, и мы бросились к баррикадам. Первым же залпом мой бедный Жан был убит у меня на глазах. Я впал в неистовство, я обезумел. Ах, никогда я не думал, что способен пролить столько крови! Три дня я купался в ней; я был залит не только чужой кровью, но и своею, она текла из многих ран, но я ничего не чувствовал. Наконец второго августа я очнулся в больнице; сам не знаю, как я туда попал. Когда я вышел из нее, я был еще несчастнее, чем раньше, сердце мое терзали горькие муки: брата больше нет на свете, а королевская власть восстановлена.

Я слишком ослабел, чтобы работать, к тому же после июльских дней голова у меня горела как в лихорадке. Мне казалось, что гнев и отчаяние могут пробудить во мне художника: я бредил страшными картинами, я исписывал стены рисунками, которые казались мне достойными Микеланджело, я читал «Ямбы» Барбье^[24] и мысленно претворял их в живые образы. Я мечтал, я ничего не делал; я умирал с голоду и сам того не замечал. В таком состоянии я не мог оставаться слишком долго, и все же несколько дней оно владело мной с такой силой, что я стал равнодушен ко всему окружающему. Мне казалось, что у меня осталась только голова, что нет у меня ни рук, ни ног, ни желудка, ни памяти, ни совести, ни родных, ни друзей. Я подолгу бесцельно бродил по улицам. Но всегда, сам не зная как, я оказывался у могил жертв июльского восстания. Я не знал, там ли похоронен мой бедный брат, но мне представлялось, что это все равно – он ли, другие ли мученики лежат там, и, преклоняя колени на этой земле, я как бы отдавал последний долг моему покойному брату. Я был необычайно возбужден и постоянно разговаривал вслух сам с собой. Я ничего не помню из этих длинных речей; кажется, чаще всего я говорил стихами. Вероятно, они были плохи, а сам я очень смешон; прохожие, должно быть, принимали меня за сумасшедшего. Но я не замечал никого и даже собственный голос слышал лишь изредка. Тогда я пробовал молчать, но это не удавалось. Лицо мое было мокро от пота и слез, и, что самое странное, в этом отчаянии было нечто приятное. Я бродил целые ночи напролет или, сидя на придорожном камне, при лунном свете предавался бесконечным, бессвязным грезам, подобным сновидению. И все-таки я не спал, ибо когда я ходил, то видел, как рядом со мной, на стене или на мостовой, металась и размахивала руками моя тень. Сам не понимаю, как меня ни разу не задержал патруль.

Наконец я встретил одного студента, которого раньше несколько раз видел в мастерской молодого художника. Он не побоялся уронить свое достоинство и, хотя я походил скорее на нищего, первый подошел ко мне. В ту минуту я не оценил этого поступка, потому что совершенно не знал, хорошо или плохо я одет, голова моя была занята другим; я шел рядом с ним по набережной и рассуждал только о живописи; это была моя навязчивая идея. То, что я говорил, казалось, заинтересовало его. А возможно, ему было лестно появиться с одним из героев славных дней перед толпой зевак, чтобы создать впечатление, будто и он сражался. В те времена многие из буржуазной молодежи любили похвастаться жандармской саблей, купленной после восстания у какого-нибудь «оборванца», или царапиной, которую заработали, неосторожно высунувшись из окна, чтобы поглядеть на происходящее. Этот студент, как мне показалось, тоже был из породы хвастунов: по его словам, он будто бы виделся и разговаривал со мной на какой-то баррикаде, чего я никак не мог припомнить. Напоследок он пригласил меня позавтракать с ним; я согласился не чинясь – много дней я уже ничего не ел, и рассудок мой начал

мутиться. После завтрака ему надо было зайти в музей Дюсомерара^[25] в старинном особняке Клюни, и он предложил проводить его; я машинально последовал за ним.

При виде чудесных произведений искусства и всевозможных редкостей, собранных в этом музее, я пришел в такой восторг, что сразу забыл все свои горести. В углу сидели несколько учеников-живописцев и копировали эмали для альбома гравюр, заказанного господином Дюсомераром. Я взглянул на их работу; мне показалось, что я мог бы делать то же самое ничуть не хуже; пожалуй, у меня был даже более верный глаз, чем у некоторых из них. В этот момент вошел господин Дюсомерар; мой спутник был с ним немного знаком, и они поздоровались. Несколько минут они стояли в отдалении от меня, но по взглядам, которые они бросали в мою сторону, я понял, что разговор шел обо мне. После завтрака я более или менее пришел в себя и начал понимать, что моя рваная одежда была неприлична и антиквар свободно мог принять меня за вора, если бы его собеседник не поручился за меня. Господин Дюсомерар очень добр; он не любит бахвалов, но охотно оказывает услуги беднякам, проявляющим усердие и бескорыстие. Он подошел и заговорил со мной; узнав, что я хотел бы для него работать, и, несомненно, приняв во внимание, насколько я нуждаюсь, он тут же вручил мне немного денег, якобы на карандаши, а в действительности, чтобы я мог приобрести самое необходимое из одежды. Он показал все, что мне надлежало скопировать. На другой день, прилично одетый, я уже сидел на своем новом рабочем месте. Я выполнил заказ на совесть и так быстро, что господин Дюсомерар остался доволен и снова дал мне работу. У меня есть все основания быть признательным господину Дюсомерару – ведь благодаря ему я остался жив. Он не только заказал мне множество копий с художественных изделий, но и рекомендовал меня нескольким ювелирам, – я рисовал им цветы и птичек для эмалей и женские головки для поддельных камней.

Таким образом, я мог последовать своему призванию и поступить в студию господина Делакура, к которому я с первого взгляда почувствовал уважение и любовь. Я не попрошайка и никогда не посмел бы мечтать о том, что он предложил мне сам. Когда я впервые сказал ему о своем желании присутствовать на его уроках, то счел не лишним показать кое-какие свои наброски. Он просмотрел их и сказал: «Совсем недурно». Меня предупредили, что он не щедр на похвалы и, если он так скажет, я могу быть доволен. Я действительно был очень рад и уже собрался уходить, когда он окликнул меня и спросил, могу ли я платить за учение. Я ответил утвердительно, но при этом покраснел до корней волос. То ли он понял, как мне трудно будет сделать это, то ли ему обо мне уже говорили, но он добавил: «Отлично, вы будете платить старосте».

Это означало, как я вскоре узнал, что я буду вносить деньги лишь для оплаты помещения и натурщиков, сам же мэтр ничего с меня не возьмет и я буду пользоваться его уроками даром. Мудрено ли после этого, что он навсегда остался в моем сердце!

Так продолжается вот уже полгода, и я был бы счастлив, если бы так продолжалось всегда. Но это невозможно, мое положение должно измениться; и, вместо того чтобы следовать по одному из прекраснейших жизненных путей, я вынужден немедленно устремиться на любой другой путь.

Мазаччо заметно смутился; он стал не так пространно и чистосердечно излагать свои мысли. Он искал предлогов, но не находил ни одного мало-мальски правдоподобного, чтобы объяснить обуявшие его сомнения. Он показал мне письмо от своей сестры Луизон, сообщавшей о здоровье тетушки Генриетты. Добрая старушка окончательно одряхлела и могла лишь оберегать племянниц, которые работали поденно, чтобы поддержать ее существование. Врачи приговорили ее к смерти, и трудно было надеяться, что она проживет больше трех-четырёх месяцев.

– Если мы потеряем ее, – сказал Поль Арсен, – что станет с моими сестрами? Неужели им оставаться в городишке, где у них нет других родственников, кроме тетушки Генриетты, и подвергаться всем опасностям, которые могут угрожать двум хорошеньким одиноким девуш-

кам? Прежде всего отец не допустит этого, его долг вернуть их домой; но тогда их участь будет еще тяжелее: им придется терпеть дурное обращение мачехи, да еще постоянно иметь перед глазами дурной пример, ибо злой нрав – не единственный порок этой женщины. Мне остается либо поехать к сестрам в провинцию, устроиться там рабочим и жить вместе с ними, либо забрать их сюда, приняв на себя расходы по их содержанию, пока они сами не начнут зарабатывать себе на жизнь.

– Все это весьма справедливо и весьма благородно, – сказал я, – но если ваши сестры действительно дельные и трудолюбивые девушки, они недолго будут вам в тягость. И все же я не понимаю, почему вы стремитесь найти работу с таким большим заработком, как вы на днях говорили. Речь идет ведь о небольшой сумме денег, необходимой, чтобы привезти Луизон и Сюзанну и поддержать их на первых порах. Что ж, у вас есть друзья, они легко могут ссудить вам эти деньги, и я первый...

– Благодарю вас, сударь, – сказал Арсен, – но я не хочу... Занимать легко, отдавать трудно. Я и так слишком обязан чужой добротой, а времена, как я знаю, сейчас трудные для всех. Зачем перекладывать на плечи других лишения, которые я сам могу вынести. Я люблю живопись, но вынужден ее оставить, – что ж, тем хуже для меня. Если вы принесете жертву ради того, чтобы я продолжал рисовать, то завтра, быть может, вам не удастся помочь человеку более несчастному, чем я. В конце концов, не все ли равно: быть художником или чернорабочим, если ты живешь честно? Незачем шадить самого себя. Говорят, многие великие художники жалуется на судьбу; пусть в таком случае найдутся бедные башмачники, которые терпеливо молчат.

Как я ни уговаривал его, все было бесполезно, он был непоколебим. Ему нужно было зарабатывать тысячу франков в год и для этого как можно скорее поступить на службу, хотя бы лакеем. Теперь все его мысли были заняты одним: как найти подходящее место.

– Что, если я возьму на себя, – спросил я, – достать для вас побольше работы на дом, – скажем, рукописи для переписки или заказ на рисунки, тогда вы не оставите живописи?

– Ах, если бы это было возможно! – воскликнул он после минутного колебания. – Но нет, – тут же добавил он, – это причинит вам слишком много хлопот, а заработок все равно будет неверный.

– Позвольте мне все же попытаться, – настаивал я.

Он снова пожал мне руку и ушел, унося с собой свою тайну и свое решение.

Глава V

Орас посещал меня все чаще и чаще. Он проявлял ко мне дружеское расположение, которое я очень ценил, хотя Эжени не разделяла моего чувства. Он не раз встречался у меня с маленьким Мазаччо, но, как бы хорошо я ни отзывался об этом юноше, Орас не соглашался с моим мнением и испытывал к художнику непреодолимую антипатию. Впрочем, он стал с ним более любезен, увидев однажды, как тот набрасывал портрет Эжени. Эскиз был так удачен, отличался таким бесспорным сходством и смелым рисунком, что Орас, чувствительный ко всякому проявлению духовного превосходства, невольно начал относиться к Мазаччо с некоторым уважением. Однако это не мешало ему еще сильнее возмущаться необъяснимым отсутствием благородного честолюбия, непонятным для такого честолюбца, каким был он сам. По этому поводу он разражался пылкими тирадами. Поль Арсен, слушавший его со сдержанной улыбкой на губах, вместо ответа произносил, обращаясь ко мне: «Ваш друг прекрасно говорит, сударь!»

Сам Поль не выказывал ни хорошего, ни дурного отношения к Орасу. Он принадлежал к тем людям, которые идут прямо к цели, никогда не задерживаясь ради дорожных развлечений. Он ничего не говорил зря, не высказывался почти ни о чем, – ссылаясь на свое неведение, иногда действительное, иногда лишь служившее предлогом для прекращения спора. Обычно сдержанный и замкнутый, он проявлял себя лишь тогда, когда без всякого педантизма успокаивал других или без лишних разговоров оказывал кому-нибудь услугу. Пока задуманное им решение не было еще осуществлено, он продолжал посещать класс натуры, изучать анатомию и делать рисунки для фарфора тщательно и прилежно, словно и не помышлял о перемене рода занятий. Это спокойствие в настоящем, соединенное с волнением за будущее, восхищало меня. Как редко встречается в человеке сочетание таких качеств! Молодости особенно свойственно усыплять себя настоящим, без заботы о завтрашнем дне, – либо прожигать настоящее в лихорадочном ожидании будущего.

Орас, казалось, был убежденным и сознательным антиподом этого характера. Очень скоро я убедился в том, что он совершенно не занимается науками, хотя он и утверждал, будто в течение нескольких часов, украденных у сна, может наверстать все упущенное за неделю. Не тут-то было. За всю свою жизнь он не прослушал и трех лекций; пожалуй, не чаще открывал он и свои книги. Рассматривая однажды у него в комнате книжные полки, я обнаружил там одни романы и поэмы. Он признался, что все книги по юриспруденции были им проданы.

Это признание повлекло за собой другие. Я заподозрил, что такая острая нужда в деньгах – следствие легкомысленного поведения. Он горячо оправдывался и сказал, что его родители – люди малосостоятельные; не сообщая цифры назначенного ему пенсионера, он добавил, что его добрая матушка питает странные иллюзии, будто высылает ему сумму, достаточную для жизни в Париже.

Я не посмел продолжать свой допрос, но невольно представил себе элегантный и хорошо подобранный гардероб моего юного друга: чего там только не было! Жилетов, сюртуков и фраков у него было больше, чем у меня, обладателя наследства, дающего три тысячи франков ренты. Я догадался, что портной может стать бичом его существования. И не ошибся. Вскоре я заметил, что Орас начал хмуриться, говорить более отрывисто и резко. Целую неделю я не мог от него ничего добиться. Наконец мне удалось вырвать признание о постигшем его несчастье. Мерзавец портной посмел представить счет! Избить бы его тростью! Вот каналья! Возмущение было все же признаком добродетели. Орас не дошел еще до той степени порочности, когда люди кичатся своими долгами или хвастливо посмеиваются при мысли, что на родителей обрушится счет в три или четыре тысячи франков. К тому же он нежно любил свою мать,

хотя и находил ее ограниченной, и был хорошим сыном, хотя втайне и презирал отца за слепое повиновение воле правительства.

Увидев, что он впал в уныние, я взялся переговорить с портным и умерить его притязания, после чего, поблагодарив меня с необычайным жаром, Орас вновь обрел свою безмятежность.

Но он продолжал бездельничать, и его образ жизни – впрочем, для студента совершенно обычный – вызывал во мне все большее недоумение. В самом деле, как сочетать жажду славы, мечты о парламентской деятельности и политическом главенстве с глубокой инертностью и сибаритской беспечностью этой натуры? Казалось – человеческая жизнь раз во сто длиннее, чем она есть, а сделать ему остается не так уж много. Он расточал часы, дни и недели с истинно королевской беззаботностью. Была даже своеобразная прелесть в том, как этот молодой красавец атлетического сложения, с черными кудрями и огненным взором, с утра до вечера возлежал на ковре у меня на балконе, покуривая огромную трубку (которую ежедневно приходилось подновлять, ибо, выколачивая ее о перила балкона, он неизменно ронял головку на мостовую), и перелистывал какой-нибудь роман Бальзака или томик Ламартина^[26], не давая себе труда прочесть хоть одну главу или отрывок целиком. Я оставлял его там, уходя на работу, а когда возвращался из клиники или госпиталя, находил его дремлющим на том же месте, почти в той же позе. Эжени приходилось терпеть общество Ораса; впрочем, жаловаться ей было не на что: он едва удостаивал ее словом, рассматривая скорее как мебель, чем как живого человека. Она возмущалась его царственной ленью. Я же только улыбался, когда он с затуманенным от сонных мечтаний взором снова принимался за свои бредни о славе, политике и власти.

Однако в моих сомнениях не было ни тени презрения или порицания. Каждый день после обеда мы встречались с Орасом в Люксембургском саду, в кафе или в Одеоне, среди многолюдного сборища моих и его друзей; тут Орас разглагольствовал с необычайным красноречием. Во всех вопросах он казался самым сведущим, хотя был самым молодым. Во всех делах он был самым смелым, самым пылким, самым передовым, как говорили тогда и как говорят, я полагаю, и теперь. Даже те, кто не любил его, невольно слушали с интересом, противники же проявляли обычно больше недоверия и досады, чем справедливости и честности. Дело в том, что в таких случаях Орас широко использовал все свои преимущества: спор был его стихией; и каждый в душе признавал, что если логика Ораса и небыстречна, тем не менее он неистощимый, изобретательный и страстный оратор. Те, кто его не знал, полагали, что развенчивают его, утверждая, будто он человек неглубокий, без собственных взглядов, но очень много работающий, и что все его вдохновенные речи тщательно подготовлены. Я же, хорошо зная обратное, восхищался его поразительной интуицией, благодаря которой ему достаточно было мимоходом коснуться любого вопроса, чтобы тут же усвоить его и развить, вдохновенно импровизируя. Это была поистине избранная натура, и можно было предсказать, что для ее развития и совершенствования времени всегда хватит, – так мало, казалось, для этого было нужно.

Постоянное присутствие Ораса в моем доме было подлинной мукой для Эжени. Как все деятельные, трудолюбивые люди, она не могла видеть это длительное бездействие, не испытывая какого-то беспокойства, доходящего до страдания. Я же был деятелен не по природе, а по убеждению и по необходимости, и поэтому не возмущался так, как она. К тому же я утешал себя мыслью, что это бездействие было вызвано преходящим упадком сил и вскоре мой юный друг сделает, как он говорил, могучий рывок вперед.

Однако, убедившись, что два месяца истекли, не принеся никаких изменений, я счел своим долгом содействовать пробуждению льва и однажды, когда мы сидели за кофе у Пуассона, попытался затронуть этот деликатный вопрос. День выдался грозовой, и вспышки молний то и дело бросали голубоватые отблески на зеленую листву Люксембургского сада. Дама, сидевшая за стойкой, была прекрасна, как всегда; а может быть, еще прекрасней, ибо печаль, обычно светившаяся в ее глазах, гармонировала с вечерним сумраком, полным томления.

Орас все поглядывал на нее и наконец сказал мне проникновенным тоном:

– Удивляюсь, как это вы, человек, способный серьезно увлекаться женщинами подобного рода, не прониклись к ней великой страстью.

– Она действительно очень хороша, – ответил я, – но, к счастью, для меня существует лишь та женщина, которую я люблю. Скорее должен удивляться я, как это вы, чье сердце свободно, не обратите внимания на ее греческий профиль и талию нимфы.

– Полигимния^[27] из музея тоже прекрасна, – возразил Орас. – И, кроме того, у нее есть большие преимущества. Прежде всего – она молчит, а эта красавица исцелила бы меня от страсти первым же произнесенным ею словом. Затем – дама из музея не торгует лимонадом, а в-третьих – ее не зовут госпожой Пуассон. Госпожа Пуассон! Ну и фамилия! Вы опять будете осуждать меня за аристократические замашки, ну, а сами-то вы? Что, если бы Эжени звали Марго или Жавоттой...

– Я предпочел бы Марго или Жавотту Леокадии или Федоре. Но позвольте вам заметить, Орас, вы что-то скрываете. Вы влюбились?

Орас протянул мне руку.

– Доктор, – воскликнул он смеясь, – пощупайте пульс. Должно быть, моя любовь очень спокойна, раз я не замечаю ее. Но почему пришла вам в голову такая фантазия?

– Потому что вы перестали думать о политике.

– Откуда вы это взяли? Думаю больше, чем когда бы то ни было. Но разве к цели ведет один-единственный путь?

– О! Каков же тот путь, которым вы идете? Для меня, я сам знаю, *far niente*² было бы счастьем. Но для того, кто стремится к славе...

– Слава сама находит тех, кто любит ее гордой и скромной любовью. Я же чем больше размышлял, тем тверже убеждался, что изучение права несовместимо со складом моего ума, а ремесло адвоката невозможно для уважающего себя человека; я отказался от него.

– Неужели? – воскликнул я, пораженный легкостью, с какой он сообщил мне о подобном решении. – Что же вы намерены делать?

– Не знаю, – ответил он равнодушно, – может быть, займусь литературой. Этот путь шире любого другого, или, вернее, – это открытое поле, куда можно войти со всех сторон. Вот подходящее занятие для удовлетворения моих нетерпеливых надежд и моей лени. Достаточно одного дня, чтобы выдвинуться в первые ряды; и когда пробьет час великой революции, партии смогут гораздо легче распознать нужных им людей среди литераторов, чем среди судейских.

Когда он говорил это, мне показалось, что в зеркале промелькнуло лицо Поля Арсена; но прежде чем я успел обернуться, оно исчезло.

– Какую же область литературы вы изберете? – спросил я Ораса.

– Стихи, прозу, роман, театр, критику, полемику, сатиру, поэму – все формы к моим услугам, и ни одна из них не пугает меня.

– Форма – пусть так, но содержание?

– Содержание бьет через край, – возразил он, – форма – это тесный сосуд, в который мне придется загонять свои мысли. Успокойтесь, вы скоро увидите, что кроется под пугающим вас бездельем. Тихие воды таят глубины.

Оглядываясь по сторонам, я вновь увидел Поля Арсена, но в совершенно необычном для него наряде. На этот раз на нем была очень белая и довольно тонкая сорочка, белый фартук, и, в довершение метаморфозы, он держал в руках поднос, уставленный чашками.

– Смотрите, – сказал Орас, повернувший голову в направлении моего взгляда, – вот гарсон, удивительно похожий на Мазаччо.

² Безделье (*ит.*).

Я не усомнился ни на минуту, что это был Мазаччо, хотя он и подстриг свои длинные волосы и сбрил усы. Сердце у меня больно сжалось. Сделав над собой усилие, я подозвал гарсона.

– Что прикажете, сударь, – откликнулся он тотчас же и, подойдя к нам без малейшего смущения, подал кофе.

– Возможно ли, Арсен? – воскликнул я. – Неужели вы избрали это занятие?

– За неимением лучшего, – ответил он, – впрочем, мне и здесь неплохо.

– Но у вас не остается ни минуты для рисования, – сказал я, зная, что это единственное возражение, способное его взволновать.

– О, это действительно несчастье! Но оно касается только меня, – ответил он. – Не браните меня, сударь! Тетушка умирает, и я хочу привезти сестер сюда; видите ли, когда попробуешь, что такое этот чертов Париж, то уже не захочешь вернуться в провинцию. Здесь, по крайней мере, я буду слушать, как молодые студенты говорят о живописи и об искусстве, а когда господин Делакруа выставит свои картины, я смогу убежать на часок, чтобы посмотреть на них. Неужели искусство погибнет оттого, что Поль Арсен перестал им заниматься? Вот чашки – те действительно могут погибнуть, – весело добавил он, подхватывая поднос, едва не выскользнувший из его еще неопытных рук.

– Ах так, Поль Арсен! – воскликнул Орас, разражаясь смехом. – Ну, либо вас обуяла жадность, либо вы влюблены в прекрасную госпожу Пуассон.

По своему обыкновению, он произнес эту шутку так громко, что госпожа Пуассон, сидевшая за стойкой, совсем близко от нас, услышала его слова и покраснела до ушей. Арсен побледнел как смерть и уронил поднос; господин Пуассон прибежал на шум, на глаз прикинул убыток и направился к конторке сделать запись в книге *ad hoc*³. Гарсон оплачивает всю разбитую им посуду. Заметив волнение жены, хозяин во всеуслышание прикрикнул на нее:

– Что же, вы всегда намерены вскакивать и кричать при малейшем шуме? Нервы как у маркизы!

Госпожа Пуассон отвернулась и закрыла глаза, словно один вид этого человека приводил ее в ужас. Эта маленькая мещанская драма продолжалась не более трех минут. Орас даже не обратил на нее внимания; но мне она открыла глаза на многое.

Искренний и глубокий интерес к судьбе бедного Мазаччо нередко приводил меня в кафе Пуассона. Я засиживался там подолгу и заказывал побольше, чтобы не возбудить подозрений хозяина, показавшегося мне грубым ревнивцем. Но хотя я все время ждал какой-нибудь трагедии, прошло более месяца, прежде чем суровый порядок, царивший в этом семействе, был нарушен. Арсен выполнял обязанности официанта с редкой расторопностью; всегда безупречно аккуратный, предупредительно вежливый и жизнерадостный, он завоевал расположение всех завсегдатаев кафе и даже своего черствого хозяина.

– Вы его знаете? – обратился господин Пуассон ко мне, заметив, что я довольно долго разговаривал с Арсеном. Боясь потерять доверие хозяина, Арсен просил меня не говорить, что он был художником, и, выполняя его просьбу, я сказал, что видел его в одном ресторане, где очень жалеют об его уходе.

– Прекрасный парень, – заметил господин Пуассон, – совершенно честный, не болтун, не соня, не пьяница. Всегда он доволен, всегда готов услужить. Мое заведение очень выиграло с тех пор, как он у меня. Но вот беда! Поверите ли, сударь, госпожа Пуассон, которая до глупости снисходительна и добра ко всем этим ребятам, терпеть не может бедного Арсена!

Господин Пуассон говорил это, стоя в двух шагах от моего столика, величественно опершись на стойку красного дерева, за которой восседала его жена со скучающим видом истинной королевы. Круглая, красная физиономия супруга вылезала прямо из муслинового жабо

³ Для данной цели (*лат.*).

сорочки, а тучные телеса, казалось, с трудом умещались в нанковых панталонах, смешно обтягивавших толстые ляжки. Орас прозвал его Минотавром. Пока Пуассон сетовал на несправедливое отношение жены к бедному Арсену, мне показалось, что по губам у нее пробежала едва заметная улыбка. Но она не произнесла ни слова и, когда я попытался продолжить этот разговор с нею, ответила с невозмутимым спокойствием:

– Чего же вы хотите, сударь? Эти люди (она говорила о гарсонах вообще) – бич нашего существования. У них такие грубые манеры, так мало привязанности к хозяевам! Они дорожат местом, а не людьми. Моя кошка и то лучше – она любит и дом и меня.

Говоря это приятным, певучим голосом, она провела белоснежной рукой по тигровой спине ангорской кошки, которая резвилась на прилавке, ловко прыгая среди посуды.

Госпожа Пуассон была совсем не глупа, и я часто замечал, что она читает хорошие книги. Как завсегдатай, я получил право беседовать с ней, а моя почтительность внушала ее супругу полное ко мне доверие. Я часто хвалил ее за выбор чтения; ни разу мне не случилось видеть у нее в руках те легкомысленные, почти непристойные книжонки, какими обычно зачитываются в мещанских семьях. Однажды, когда она кончила читать «Манон Леско»^[28], я увидел, как по ее щеке скатилась слеза; я обратился к госпоже Пуассон, заметив, что это прекраснейший из всех написанных во Франции любовных романов. Она воскликнула:

– О да, сударь! По крайней мере, прекраснейший из всех, какие я читала. Ах, коварная Манон! Благородный де Грие! – И взгляд ее упал на Арсена, сдававшего деньги в кассу; был ли этот взгляд случайным или преднамеренным – трудно сказать; Арсен же никогда не поднимал на нее глаз; он сновал от столиков к прилавку со спокойным видом, способным обмануть самого тонкого наблюдателя.

Глава VI

Мало-помалу Орас начал удостаивать своим вниманием красоту и изысканные манеры Лоры – так называл господин Пуассон свою жену.

– Если бы подобное существо родилось в королевском дворце, – не раз говорил Орас, глядя на нее, – весь мир простерся бы ниц перед величием такой красоты.

– Зачем же во дворце? – отвечал я. – Красота сама по себе равна королевской власти.

– Что отличает ее, по моему мнению, от прочих содержательниц кафе, – продолжал он, – это ее холодное достоинство, столь непохожее на их дешевое кокетство. Обычно они продают вам свои нежные взгляды за стакан подслащенной воды; это способно отбить жажду навеки. Но она среди окружающей ее грубой лести подобна прекрасной жемчужине в навозной куче; она действительно внушает какое-то уважение. Будь я уверен, что она не дура, я, пожалуй, захотел бы влюбиться в нее.

Постоянное присутствие в кафе молодых людей, изо всех сил старавшихся привлечь внимание прекрасной лимонадницы и действительно способных натворить ради нее глупостей, в конце концов задело самолюбие Ораса; однако гордость не позволяла ему следовать по пути этих наивных обожателей. Он не желал принадлежать к свите госпожи Пуассон: ему нужно было, говорил он, овладеть крепостью, опередив всех осаждающих. Он обдумал все средства и однажды, оставив на столе страстное письмо, исчез до следующего вечера, полагая, что подобное поведение, которое впоследствии можно будет, смотря по обстоятельствам, объяснить робостью, надменностью или занятостью, произведет выгодное впечатление по контрасту с навязчивостью соперников.

Я решил не препятствовать этой проделке, будучи втайне уверен, что исход ее послужит уроком для все возраставшего самомнения Ораса и что все его эпистолярное красноречие пропадет даром. На следующий день я был занят больше обычного, и мы назначили друг другу свидание в кафе Пуассона только вечером. Лоры на обычном месте не было. Арсен один выполнял обязанности хозяина и слуги и так захлопотался, что на все наши расспросы отвечал только «не могу знать», с равнодушным видом бросая слова на бегу. Господин Пуассон тоже не показывался, и мы собрались было уходить, так ничего и не узнав, как вдруг в кафе с шумом ворвался Ларавиньер, «предводитель бузенго», окруженный веселой ватагой своих друзей.

Однажды я прочел где-то довольно пространное определение слова «студент», сделанное не без таланта, но отнюдь не показавшееся мне точным. Этим определением студент умален, я сказал бы, даже принижен; ему незаслуженно приписывается неблагоприятная и пошлая роль, совсем ему не свойственная. У студента больше чудачеств и странностей, чем пороков; а если и есть у него пороки, то обычно они так неглубоко заложены, что достаточно студенту сдать экзамены и вернуться под отчий кров, чтобы стать человеком спокойным, положительным и уравновешенным, – чаще всего слишком положительным, ибо пороки студента – это пороки всего общества; общества, которое обрекает подростков на воспитание поверхностное и вместе с тем педантичное, развивающее у них самонадеянность и тщеславие; общества, где юноши, не зная ни меры, ни удержу, предаются всем излишествам, порождаемым скептицизмом, а став зрелыми мужами, немедленно вступают в сферу эгоистического соперничества и ожесточенной борьбы. Но если бы студенты действительно были так испорчены, как пытаются нам доказать, будущему Франции грозила бы опасность.

Впрочем, автора этого определения можно простить, если понять, как трудно – чтобы не сказать невозможно – в одном типе воплотить столь многообразную и многочисленную группу, как студенчество. Как! Неужели всю учащуюся молодежь вы хотите изобразить нам, пользуясь одной и той же схемой? Но какое бесконечное множество оттенков в этом сонме полувзрослых детей, непрестанно возобновляющемся, подобно разнородной пище в огром-

ном чреве Латинского квартала! Среди студентов столько же различных враждующих групп, сколько существует их среди буржуазии. Можете ненавидеть стоящую у власти косную буржуазию, которая обратила все силы и установления государства в предмет позорного торга, но пощадите буржуазную молодежь; в ней зарождаются и растут благородные стремления. Участвуя во многих событиях современной истории, эта молодежь доказала свою храбрость и искреннюю приверженность республике. В 1830 году она выступила посредницей между народом и свергнутыми министрами Реставрации^[29], которым грозила опасность даже в самом зале суда; это был последний день ее славы.

С тех пор она подверглась такой слежке и притеснениям, ее так угнетали, что она не могла больше выступать открыто. И все же, если любовь к справедливости, чувство равенства и преданность великим принципам французской революции знают другой очаг, кроме очага народного, то искать его нужно именно в душе буржуазной молодежи. Но этот огонь охватывает и сжигает ее слишком скоро. Несколько лет благородного воодушевления, которым как бы воспламеняют ее самые камни парижской мостовой, а затем – провинциальная скука, или деспотизм семьи, или разлагающее влияние общества быстро и бесследно уничтожают возвышенные порывы юности.

Тогда человек замыкается в себе самом, другими словами – в себе одном; называет безумием смелые теории, которые любил и отстаивал; стыдится того, что был фурьеристом, или сенсимонистом, или хоть сколько-нибудь революционером; не смеет рассказывать о дерзких предложениях, которые вносил или поддерживал в политических обществах; а затем начинает удивляться тому, что мечтал о всеобщем равенстве, любил народ без страха, голосовал за братство без оговорок. А через несколько лет – другими словами, когда он так или иначе устроится, – изберет ли он золотую середину, станет ли легитимистом^[30] или республиканцем, будет ли придерживаться направления «Деба»^[31], «Газетт де Франс»^[32] или «Националь»^[33], – он напишет на своей двери, на своем дипломе или патенте, что никогда в жизни и не слыхивал о покушениях на архисвященную собственность.

Но в этом, повторяю, следует винить угнетающее нас буржуазное общество. Не будем осуждать молодежь, ибо она была такой, какой молодежь, взятая в целом и замкнутая в рамках своей среды, есть и будет всегда, – восторженной, романтической и великодушной. Итак, все, что есть лучшего в буржуа, воплотилось именно в студенте, это несомненно.

Оспаривая утверждения упомянутого автора, – обвиняемого мною, клянусь, без всякой злобы, – я не собираюсь вдаваться в подробности. Возможно, он лучше меня осведомлен о нравах нынешних студентов; но я должен сделать вывод, что либо автор ошибается, либо студенты очень изменились, – ибо мне приходилось видеть совершенно иное.

Например, в мое время мы не разделялись на так называемых *кутил* – весьма многочисленную группу, которая проводит время в Шомьере, в кабачках или на балах в театре «Пантеон», одурманивая себя табаком, крича и распевая в отвратительной, нездоровой обстановке дешевых кафе; и другую, весьма немногочисленную группу – так называемых *зубрил*, которые, скрываясь от мира, ведут жалкую жизнь и занимаются тяжелым, изнурительным трудом, в результате приводящим к кретинизму. Нет! Было и у нас немало бездельников и лентяев, даже подлецов и идиотов, но было также очень много деятельных и умных молодых людей; их нравы были чисты, любовь романтична, а жизнь отмечена печатью изящества и поэзии, несмотря на окружавшее их убожество и даже нищету. Правда, эти молодые люди были очень самолюбивы, тратили много времени попусту, увлекались чем угодно, но только не учением, расходовали гораздо больше денег, чем позволяла добродетельная преданность семье, и, наконец, в занятиях политикой и социализмом проявляли больше рвения, чем разума, а в философии – больше чувства, чем знаний и вдумчивости, но если и отличались они, как я уже признавался, странностями и чудачествами, все же нельзя сказать, что они были порочны и проводили дни в

тупом безделье, а ночи – в оргиях. Одним словом, я видел гораздо больше студентов, похожих на Ораса, чем на «студента», описанного автором, которому я позволяю себе возразить.

Жан Ларавиньер, чей портрет я хочу теперь нарисовать вам, был высокий юноша лет двадцати пяти, легкий как олень и сильный как буйвол. Его родители по преступной небрежности не сделали ему в свое время прививки, и он был обезображен оспой; к счастью, это лишь служило ему неиссякаемым источником для веселых насмешек над самим собой. Хотя он был некрасив, лицо его было приятно и весь облик так же своеобразен, как и его ум. Он был великодушен и храбр, а это не так уж мало. Его «воинственные задатки», как сказал бы френолог, властно побуждали его принимать участие во всех стычках, и он всегда увлекал за собой целую когорту бесстрашных друзей, которых воодушевлял своим героическим хладнокровием и боевым задором. Он не на шутку сражался в июльские дни; позже он столь же беззаветно сражался и в других боях.

Это был буйн, *кутила*, если хотите; но какой честный, прямой характер, какая героическая самоотверженность! Он отличался всей эксцентричностью, присущей таким людям, всей непоследовательностью пылкого нрава, всей буйной удалью, соответствовавшей его положению. Можно было смеяться над ним, но нельзя было его не любить. Он был так добр, так простодушен в своих убеждениях, так предан друзьям! Он числился медиком, но в действительности был и хотел быть только студентом-бунтовщиком – бузенго, как тогда говорили. И так как это слово историческое, которое, если не принять мер, легко забудется, я постараюсь его объяснить.

Был класс студентов, которых мы (юноши, признаюсь, несколько аристократического толка) называли, без всякого, однако, пренебрежения, *студентами из кофейни*. Эта группа пополнялась главным образом студентами первого курса, юнцами, недавно прибывшими из провинции. Париж кружил им головы, и они надеялись сразу стать мужчинами, накуриваясь до тошноты и с утра до вечера шатаясь по улицам, сдвинув набекрень фуражки, ибо у студента первого курса редко имеется шляпа. Со второго курса студент обычно становится серьезнее и проще. А на третьем он совершенно отказывается от подобного образа жизни. К этому времени он начинает ходить в Итальянскую оперу и одевается как все люди. Но известная часть молодых людей остается верной привычке к фланированию, бильярду, курению до одури в дешевых кафе или к прогулкам шумными толпами по Люксембургскому саду. Одним словом, передышку, которую другие разрешают себе ненадолго, они превращают в смысл и содержание всей жизни. Поэтому их манеры, их мысли и даже черты лица, вместо того чтобы сформироваться, сохраняют какую-то ребяческую неопределенность и подвижность; не стоит поощрять эту ребячливость, хотя есть в ней своя прелесть и даже поэзия. Совершенно естественно, что эти молодые люди легко вовлекаются в мятежи. Самые юные идут, чтобы поглазеть, другие – чтобы действовать. А кто в те времена не бросался в бой – пусть ненадолго, пусть лишь затем, чтобы поспешно покинуть поле, предварительно обменявшись с противником парой добрых ударов! Это не меняло положения дел, и единственным новшеством, внесенным такими попытками, был возросший ужас лавочников и удвоенная жестокость полицейских. Но сейчас ни один из тех, кто тогда колебал основы общественного порядка, не должен краснеть за дни своей пылкой юности. Если юность может выразить величие и отвагу, заложенные в ее сердце, лишь покушаясь на общество, значит, общество устроено плохо!

В то время их называли бузенго⁴, потому что все они носили матросские шляпы из лакированной кожи как отличительный знак своего содружества. Позже они стали носить пунцовые шапки с черным бархатным околышем, похожие на военную фуражку. Когда на них снова донесли полиции и на улице их начали осаждать шпики, они надели серые шляпы; но от этого их не стали меньше выслеживать и притеснять. Немало речей было произнесено в осуждение

⁴ Bousingot – матросская шляпа (*фр.*).

их действий; но я не знаю, чем могло бы правительство оправдать поведение своих агентов, настоящих убийц, погубивших множество этих юношей, причем ни один лавочник не выразил ни малейшего негодования или жалости.

Кличка «бузенго» осталась за ними. Когда газета «Фигаро»^[34], в свое время возглавлявшаяся Делатушем и поддерживавшая оппозицию своими язвительными статьями, перешла в другие руки и постепенно переменяла окраску, эта кличка стала оскорблением, и не было таких злых и несправедливых издевательств, какими не старались бы их очернить. Но истинных бузенго это не смутило, и наш друг Ларавиньер с радостью сохранил свое прозвище предводителя бузенго и носил его до самой смерти, не боясь ни насмешек, ни презрения.

Товарищи так домогались его дружбы и так любили его, что увидеть Ларавиньера одного было невозможно. В кругу веселой ватаги, с пением и шумом сопровождавшей его повсюду, он возвышался подобно могучей и гордой сосне среди мелкой лесной поросли, или Фенелоновой Калипсо^[35] среди хоровода нимф, или, наконец, подобно юному Саулу^[36] среди пастухов Израиля. (Он предпочитал последнее сравнение.) Его можно было узнать издали по остроконечной широкополой серой шляпе, козлиной бородке, длинным прямым волосам и пышному красному галстуку, выступавшему из-под огромных белых отворотов жилета а-ля Марат. Обычно он носил долгополый синий сюртук с металлическими пуговицами, панталоны в крупную серую и черную клетку и никогда не расставался с тяжелой рябиновой палкой, которую называл своим «братом Жаном», в память о той дубине, сделанной из креста, что помогла брату Жану, одному из героев Рабле, учинить такое ужасающее избиение войск Пикрошоля. Добавьте сигару толщиной с полено, торчащую из-под рыжих, подпаленных усов, хриплый голос, сорванный в первые дни августа 1830 года пением «Марсельезы», и добродушную самоуверенность человека, сотни раз обнимавшего Лафайета^[37], о котором, впрочем, в 1831 году он уже говорил, прибавляя «мой бедный друг», – и вы увидите во весь рост Жана Ларавиньера, предводителя бузенго.

Глава VII

– Вы спрашиваете о госпоже Пуассон? – сказал Ларавиньер Орасу, который обычно не очень-то терпеливо сносил его фамильярности. – Госпожи Пуассон вы больше не увидите! Госпожа Пуассон уволилась. Недурно придумано! По крайней мере, господин Пуассон не сможет теперь ее бить.

– Взяла бы она меня в защитники! – воскликнул маленький Полье, который ростом был не больше мухи. – В другой раз ее не избили бы. Но если она отдала предпочтение предводителю...

– Простите! Это не совсем верно, – возразил предводитель бузенго, повышая свой хриплый голос, чтобы все слышали. – Арсен, стакан рому! Глотка так и горит. Мне нужно освежиться.

Арсен налил ему рому и остановился рядом, внимательно, с каким-то странным выражением глядя на него.

– Итак, бедный мой Арсен, – продолжал Ларавиньер, не подымая на него глаз и смакуя каждый глоток, – ты больше не увидишь свою хозяйку! Тебя это, может быть, радует? Она ведь тебя недолюбливала, а?

– Право, не знаю, – как всегда четко и решительно ответил Арсен. – Но куда, черт возьми, могла она исчезнуть?

– Говорю же тебе, она ушла. Ушла, понимаешь? Это значит – она там, где ей нравится. Ищите ее где угодно, только не здесь.

– А вы не боитесь огорчить или оскорбить мужа, так громко рассуждая о подобном событии? – сказал я, бросая взгляд на дверь в глубине помещения, из которой обычно то и дело выглядывал господин Пуассон.

– Гражданин Пуассон отсутствует, – ответил бузенго Луве, – мы только что встретили его у входа в префектуру. Наверное, пошел наводить справки. Еще бы! Он ищет. Долго же придется ему искать! Шерш, Пуассон, шерш! Апорт!

– Дурак несчастный! – подхватил другой бузенго. – Это его научит уму-разуму. Арсен, кофе!

– Правильно сделала! – сказал третий. – Однако я не думал, что она способна на такую выходку! Бедная женщина, у нее всегда был такой угнетенный вид! Арсен, пива!

Арсен проворно подавал, а потом всякий раз останавливался позади Ларавиньера, словно чего-то поджидая.

– Эй! С чего ты так уставился на меня? – спросил Ларавиньер, увидев его в зеркале.

– Жду, чтобы налить вам вторую рюмку, – спокойно ответил Арсен.

– Давай, милый мальчик, – сказал предводитель бузенго, протягивая ему стакан, – мы, как видно, отлично понимаем друг друга. Ах, если бы ты стоял вот так, подобно богине Гебе, у баррикады на улице Монторгей в июле прошлого года! Какая у меня тогда была ужасная жажда! Но где там! Этот мальчишка только и делал, что подстреливал жандармов. Храбрый мальчишка, настоящий лев! А рубашка на тебе была не такая белая, как сейчас. О нет! Красная от крови, черная от пороха. Но где ты пропал с тех пор?

– Скажи лучше, где провела ночь госпожа Пуассон, раз тебе это известно, – подхватил Полье.

– Как! Вам это известно? – вспыхнув, воскликнул Орас.

– Ба! Вас это интересует? – спросил Ларавиньер. – И, кажется, даже чертовски интересует. Так нет же! Прошу не обижаться, но этого вам не узнать, ибо я дал слово, и вы сами понимаете...

– Я понимаю, – с горечью сказал Орас, – что вы намекаете, будто госпожа Пуассон ушла к вам.

– Ко мне! Я был бы очень рад: это означало бы, что у меня есть свой угол. Но, пожалуйста, без пошлостей. Госпожа Пуассон – честная женщина и, я уверен, никогда не пойдет ни к вам, ни ко мне.

– Расскажи им наконец, как ты помог ей спастись, – сказал Луве, видя, что нам не терпится постичь смысл недомолвок Ларавиньера.

– Ну ладно! Слушайте! – ответил предводитель. – Об этом я могу говорить свободно. Даме это не повредит. Вот как, и ты слушаешь? – добавил он, снова увидев Арсена у себя за спиной. – Ты что ж, за нами шпионить вздумал? Донесешь потом хозяину?

– Я даже не знаю, о чем вы говорите, – возразил Арсен, садясь за свободный столик и развертывая газету. – Я здесь, чтобы прислуживать вам. Если я мешаю, могу уйти.

– Нет, нет! Оставайся, дитя Июля! – сказал Ларавиньер. – То, что я расскажу, никого не компрометирует.

В этот час все жители квартала обедали. В кафе оставались только Ларавиньер, его друзья и мы. Он начал свой рассказ следующими словами:

– Вчера вечером... или, лучше сказать, сегодня утром (ибо было около часу пополудни), я возвращался один в свою берлогу, а это не так-то близко. Не скажу вам ни откуда я шел, ни где произошла эта неожиданная встреча, – о таких подробностях я умолчу. Я заметил впереди себя женщину с тонкой, осиной талией, походка у нее была скромная и вид самый порядочный, так что я долго колебался, прежде чем... Наконец, решив, что это все же только «ночная бабочка», я нагоняю ее; однако какое-то таинственное и необъяснимое чувство (изысканный стиль, дети мои!) помешало бы мне быть грубым даже в том случае, если бы французская галантность не была присуща вашему предводителю. «Очаровательная незнакомка, – говорю я, – разрешите предложить вам руку?» Она не отвечает, даже не поворачивает головы. Это удивляет меня. Вон оно что! Может быть, она глуха, такие вещи уже случались. Я упорствую. Меня вынуждают ускорить шаг. «Не бойтесь же!» – «Ах!» – слабый крик, и она опирается на парапет.

– Парапет? Значит, это было на набережной! – заметил Луве.

– Я сказал парапет, как сказал бы тумба, окно, стена – что угодно. Неважно! Я увидел, что она дрожит, готова вот-вот упасть в обморок. Я останавливаюсь в замешательстве. Уж не смеется ли она надо мной? «Но, мадемуазель, вам, право же, нечего бояться». – «Ах, боже мой! Неужели это вы, господин Ларавиньер?» – «Ах, боже мой! Это вы, госпожа Пуассон?» (Каков театральный эффект!) – «Я очень рада, что встретила вас, – говорит она решительно, – вы честный и порядочный человек, вы проводите меня. Вручаю свою судьбу в ваши руки и доверяюсь вам. Но я требую тайны». – «Сударыня, за вас и с вами я готов в огонь и в воду». Она подает мне руку. «Я могла бы попросить вас не следовать за мной и уверена, что вы повиновались бы; но я предпочитаю довериться вам. Моя честь в надежных руках; вы ее не предадите». Я тоже протягиваю руку, она пожимает ее. Голова у меня слегка кружится, но это неважно. Я, точно маркиз, предлагаю госпоже Пуассон руку и, не решаясь ни о чем спрашивать, следуя за ней...

– Куда? – нетерпеливо спросил Орас.

– Куда ей было угодно, – ответил Ларавиньер. – По дороге она сказала: «Я покидаю господина Пуассона навсегда; но покидаю его не для того, чтобы дурно вести себя. У меня нет любовника, сударь; клянусь вам перед Богом, Который не оставляет меня, ибо это Он послал вас сюда в такую минуту, что любовника у меня нет и я не хочу иметь его. Я ушла оттого, что со мною дурно обращались, вот и все. Мне дает пристанище одна приятельница, честная и добрая женщина; я буду жить своим трудом. Не посещайте меня. После такого побега мне надо быть очень осторожной; но сохраните обо мне дружеское воспоминание и верьте, что я никогда не забуду...» Новое рукопожатие, торжественное прощание, быть может навеки, вот и все... Я снова один... Я знаю, где она, но не знаю, у кого и с кем. Я не буду пытаться узнать это

и никому не помогу проникнуть в ее тайну. Неважно, что я не спал всю ночь и сейчас влюблен как дурак! Что толку в этом...

– И вы верите, – взволнованно сказал Орас, – что у нее нет любовника, что она приютилась у женщины, что она...

– Ах, ничему я не верю, ничего я не знаю, и мне все равно. Она завладела мною. А теперь я вынужден держать слово, раз уж продался в рабство. Уж эти мне женщины! Арсен, рому! Оратор устал.

Я взглянул на Арсена: его лицо не выдавало ни малейшего волнения. Я перестал верить в его любовь к госпоже Пуассон; но, увидев, как возбужден Орас, я подумал, что любовь этого юноши начинает принимать серьезный характер. Мы расстались на улице Жи-ле-Кер. Я изнемогал от усталости. Всю прошлую ночь я провел у постели больного друга и с утра еще не был дома.

Хотя я видел свет в окнах своей квартиры, я готов был подумать, что там никого нет, так долго Эжени меня не впускала. Лишь после третьего звонка она решилась открыть дверь, да и то предварительно взглядевшись в меня и опросив через дверной глазок.

– Вы чего-нибудь боитесь? – спросил я, входя.

– Очень боюсь, – ответила она, – у меня есть на то причины. Но раз вы пришли, я спокойна.

Такое вступление встревожило меня не на шутку.

– Что случилось? – воскликнул я.

– Нечто весьма приятное, – ответила она улыбаясь. – Надеюсь, вы на меня не рассердитесь: я здесь без вас распорядилась вашей комнатой.

– Моей комнатой? Боже правый! А я-то как раз всю ночь не спал! Но почему? И что за таинственность?

– Тсс!.. Не шумите! – сказала Эжени, рукой зажимая мне рот. – Ваша комната занята человеком, который больше вас нуждается в отдыхе и сне.

– Вот странное вторжение! Все, что вы делаете, дорогая Эжени, прекрасно, но в конце концов...

– Но в конце концов, друг мой, вы немедленно уйдете и попросите вашего приятеля Ораса или еще кого-нибудь (мало ли их у вас) уступить вам половину комнаты на одну ночь.

– Скажите мне, по крайней мере, ради кого я приношу эту жертву?

– Ради одной моей подруги, которая, находясь в отчаянном положении, попросила у меня убежища.

– Ах, боже мой! – воскликнул я. – Роды в моей комнате! Черт побери наглеца, которому я обязан появлением этого младенца!

– Нет, нет! Ничего подобного! – сказала Эжени, покраснев. – Но говорите тише. Это, собственно, не совсем любовная история, а совершенно невинный платонический роман! Но уходите же!

– Ах, так! Очевидно, все эти предосторожности принимаются из-за похищенной принцессы?

– Нет, она такая же простая женщина, как я, и имеет право на ваше уважение.

– И вы даже не скажете мне, как ее зовут?

– Зачем же сегодня? Завтра утром мы решим, что можно вам доверить.

– А это действительно женщина?.. – спросил я в величайшем смятении.

– Вы сомневаетесь? – ответила Эжени и рассмеялась.

Она подтолкнула меня к двери, и я машинально повиновался. Она подала мне свечу, весело и сердечно выпроводила меня на площадку и вернулась в комнаты; я услышал, как она заперла дверь двойным оборотом ключа и задвинула засов, который я заказал, чтобы вечерами спокойно оставлять Эжени одну в моей мансарде.

Не успел я добраться до второго этажа, как вся кровь бросилась мне в голову. По натуре я не ревнив, к тому же моя кроткая, правдивая подруга никогда не давала мне ни малейшего повода для недоверия. Эжени внушала мне чувство большее, чем любовь, – я питал к ней безграничное уважение, верил каждому ее слову. Несмотря на все это, я был как в бреду, я не мог заставить себя выйти на улицу. Двадцать раз поднимался я к двери своей квартиры и снова спускался. Глубокая тишина царила в моей мансарде и во всем доме. Чем больше я боролся со своим безумием, тем сильнее оно овладевало мною. На лбу выступал холодный пот.

Несколько раз у меня мелькала мысль, не выломать ли дверь; несмотря на замок и железный засов, мне кажется, в тот момент у меня хватило бы сил сделать это; но боязнь напугать и обидеть таким поступком Эжени, оскорбить ее своей подозрительностью мешала мне поддаться искушению. Если бы Орас видел меня, он проникся бы жалостью ко мне или жестоко высмеял. После всех моих нападков на чувства ревности и деспотизма, которые он отстаивал в своей теории любви, я был поистине смешон.

И все-таки я не мог решиться выйти из дома. Я уже подумывал, не провести ли ночь, гуляя по набережной; но в доме был также черный ход на улицу Жи-ле-Кер, и пока я ходил бы вокруг, в одну из дверей легко можно было бы ускользнуть. Между тем, выйди я из главного подъезда и случись так, что привратник получил бы приказание не впускать меня или лег спать, можно было бы с уверенностью сказать, что после полуночи я в дом уже не попаду. Привратники чужды сострадания в обращении со студентами, мой же был из самых несговорчивых. «К черту неизвестную гостью и ее репутацию!» – подумал я и, приняв решение стеречь свое сокровище безотлучно, совершенно изнемогая от усталости, повалился на соломенную циновку у собственной двери и тут же уснул.

К счастью, мы жили на верхнем этаже, и единственная квартира, выходившая на нашу площадку, не была сдана. Мне не грозила опасность быть застигнутым в этом нелепом положении злоязычными соседями.

Как можно себе представить, сон мой не был ни долог, ни спокоен. Утренний холод разбудил меня спозаранку. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Чтобы приободриться, я закурил и около шести часов, едва заслышав, как внизу открылась входная дверь, позвонил к себе в квартиру. Снова пришлось ждать и подвергнуться обследованию через глазок. Наконец мне было дозволено войти.

– Ах, боже мой! – сказала Эжени, протирая глаза после сна, несомненно более сладкого, чем мой. – Вы как будто даже в лице переменились! Бедный Теофиль! Видно, вам было очень неудобно у вашего приятеля Ораса?

– Страшно неудобно, – ответил я, – очень жесткая постель. А ваш гость? Ушел наконец?

– Мой гость? – произнесла она с таким искренним изумлением, что меня пронизало чувство стыда.

Если ты даже сознаешь свою вину, редко находишь в себе мужество вовремя раскаяться. Меня охватила досада, и, не найдя в этот момент мало-мальски разумных слов, я сердито бросил трость на стол, а шляпу на стул; шляпа скатилась на пол, и я отшвырнул ее ногой; мне хотелось что-нибудь разбить.

Эжени, никогда меня таким не видевшая, застыла от удивления. Она молча подняла шляпу, пристально поглядела на меня и по моему лицу поняла, как я страдаю. Она подавила вздох, сдержала слезы и бесшумно ушла в мою спальню, тщательно закрыв за собою дверь. Там и скрывалась эта таинственная личность. Я не смел, я не хотел больше сомневаться – и все еще сомневался. Стоит дать волю подозрениям, как они с такой силой овладевают нами, что подчиняют наше воображение, даже когда разум и совесть восстают против них. Это была пытка; я в волнении шагал по кабинету, всякий раз останавливаясь перед роковой дверью с чувством, близким к бешенству. Минуты казались мне веками.

Наконец дверь открылась, и какая-то женщина, наспех одетая, с не причесанными еще после сна волосами, закутанная в большую пунцовую шаль, бледная, дрожащая, двинулась мне навстречу. Я отступил, пораженный. Это была госпожа Пуассон.

Глава VIII

Она склонилась передо мной, чуть ли не опустившись на колени. Эта скорбная поза, бледное лицо, распущенные волосы, простертые ко мне прекрасные обнаженные руки способны были обезоружить и тигра; я же был так счастлив убедиться в невинности Эжени, что даже нашу безобразную привратницу принял бы столь же любезно, как прекрасную Лору. Я поднял ее, усадил, извинился за свой ранний приход, не смея еще ни попросить прощения у своей бедной возлюбленной, ни даже взглянуть на нее.

– Я очень несчастна и очень перед вами виновата, – сказала в волнении Лора. – Я чуть было не внесла раздора в ваш дом. Это моя вина: нужно было предупредить вас, нужно было отказаться от великодушного гостеприимства Эжени. Ах, сударь! Упрекайте только меня. Эжени ангел! Она любит вас, как вы того заслуживаете и как я хотела бы быть любимой хотя бы один день в моей жизни. Она объяснит вам все, она расскажет вам о моих невзгодах и о моей вине; моя вина не в том, о чем вы думаете, она в тысячу раз тяжелее, и я буду сожалеть о ней всю жизнь.

Слезы помешали ей продолжать. Я был тронут и с нежностью взял ее за руки. Не помню, какими словами я утешал и успокаивал ее, но они как будто возымели свое действие, и, подводя меня к Эжени, она с чисто женской мягкостью помогла прорваться моему раскаянию и добилась для меня прощения у моей дорогой подруги. Я просил его, стоя на коленях. Вместо ответа Эжени подвела ко мне Лору и сказала: «Будьте ей братом и обещайте защищать и поддерживать ее, как если бы она была нашей общей сестрой. Вот видите, я не ревнива! А ведь насколько она красивее и образованнее меня и могла бы легко вскрыжить вам голову».

После завтрака, скромного как всегда, но отличавшегося сердечностью и непринужденным весельем, Эжени принялась устраивать Лору в квартире, выходившей на нашу площадку, – привратник не удосужился еще предоставить эту квартиру в распоряжение Лоры, хотя, втайне от меня, с ним договорились уже несколько дней назад. Пока наша новая соседка располагалась с несколько меланхолической медлительностью в своем тайном убежище (она назвалась мадемуазель Мориа – по фамилии Эжени, которая выдала ее за свою сестру), моя подруга вернулась ко мне и приступила к необходимым разъяснениям.

– Кажется, вы питаете дружеские чувства к Мазаччо? – начала она с вопроса. – Вас интересует его судьба? Так неужели вы не полюбите Лору еще сильнее, если узнаете, что она дорога Полю Арсену?

– Как, Эжени, – воскликнул я, – вам известна тайна Мазаччо? Он доверил вам эту непостижимую для меня тайну?

Эжени покраснела и улыбнулась. Она давно все знала. Когда Мазаччо писал ее портрет, она сумела внушить ему необычайное доверие. Всегда сдержанный и даже скрытный, он был покорен искренней добротой и чутким вниманием Эжени. Арсен, человек из народа, гордо и недоверчиво держался со мной, но по-братски открыл свое сердце женщине, так же, как и он, вышедшей из народа: это было вполне естественно.

Эжени обещала ему полную тайну и свято хранила ее. Она учинила мне тщательно продуманный и весьма подробный допрос и, лишь убедившись, что мое любопытство основано на искреннем и глубоком сочувствии к ее подопечному, рассказала мне множество неизвестных мне подробностей. Во-первых, госпожа Пуассон была, оказывается, вовсе не госпожой Пуассон, а молодой работницей, родившейся в том же городке, на той же улице, что и Мазаччо. Чуть ли не с детства он проникся к ней романтической, но совершенно безнадежной страстью, ибо прекрасную Марту, совсем еще юной, соблазнил и увез господин Пуассон, бывший в те времена коммивояжером; приехав вместе с ней в Париж, он открыл кафе у ограды Люксембургского сада, несомненно рассчитывая привлечь красотой Марты большое число посетите-

лей. Эта тайная мысль не мешала господину Пуассону быть очень ревнивым; при малейшем подозрении он гневно обрушивался на Марту и превратил ее жизнь в ад. В квартале поговаривали даже, будто он нередко бил ее.

Во-вторых, Эжени сообщила мне, что как-то, месяца три тому назад, Поль Арсен, вопреки своей обычной умеренности, зашел в кафе Пуассона выпить кружку пива. Там он увидел прекрасную женщину в белом платье с черными волосами, причесанными, как у средневековой знатной дамы, и, узнав в ней бедную Марту, свою первую и единственную любовь, едва не лишился чувств. Марта подала ему знак не заговаривать с нею, ибо свирепый страж был рядом. Но, давая ему сдачу с пятифранковой монеты, она незаметно сунула ему в руку такую записку:

«Мой бедный Арсен, если ты не очень презираешь свою землячку, приходи завтра поболтать с нею. Господин Пуассон будет на дежурстве. Мне хочется поговорить о нашем городке и былом счастье».

– Разумеется, – продолжала Эжени, – Арсен явился на свидание. Ушел он еще более влюбленным, чем раньше. Ему показалось, что бледность только украсила Марту, а горе облагородило ее. И так как, сидя за стойкой, она прочла много романов и даже несколько серьезных книг, то и речь у нее стала более правильной, и мысли появились такие, каких раньше быть не могло. Она поведала ему о своих горестях, о своем раскаянии и желании избавиться от постыдной и жалкой участи, уготованной ей соблазнителем; и Арсен вообразил, что отныне его связывает с землячкой лишь братская дружба и долг христианского милосердия. Он продолжал заглядывать к Марте, не возбуждая, однако, подозрений ревнивца, и ему удавалось побеседовать с ней всякий раз, когда господина Пуассона не было дома. Марта твердо решила покинуть своего тирана; но, говорила она, не для того, чтобы один позор променять на другой. Она поручила Арсену подыскать для нее занятие, которое позволило бы ей честно жить своим трудом, – например, место экономки в богатом доме или продавщицы в магазине мод. Но все занятия казались Полю недостойными его любимой. Он хотел создать ей положение почетное, обеспеченное и вместе с тем независимое: а это было нелегко. Тогда он задумал и осуществил план оставить искусство и заняться любым ремеслом, хотя бы поступить в лакеи. Он убедил себя, что тетушка непременно скоро умрет, и тогда он привезет сестер в Париж, поселит их вместе с Мартой, добудет им работу на дому и будет поддерживать всех троих, пока дело у них не пойдет на лад; он готов был даже никогда не возвращаться к живописи, если его сбережений и их заработка не хватит им на безбедную жизнь. Так Поль Арсен отрекся от своей страсти к искусству – ради страсти самопожертвования и от своего будущего – ради любви.

Не найдя более прибыльной должности, чем место гарсона в кафе, он и сделался гарсоном и выбрал именно кафе господина Пуассона, где ему легче было подготовить побег Марты и где он рассчитывал остаться еще некоторое время, чтобы не навлечь на себя подозрений. Теперь тетушка Генриетта умерла, сестры Арсена уже в пути, и я взялась помочь им прилично устроиться. В нашем доме чисто и живут порядочные люди. В соседней квартире две небольшие комнаты; сдается она за сто франков. Девушкам там будет очень хорошо. Мы можем ссудить их постельным бельем и необходимой мебелью, пока они сами не обзаведутся хозяйством; а ждать придется недолго: за два месяца, что Поль работает, он уже купил кое-что из обстановки, и, надо сказать, довольно удачно; мы, не спросив у вас разрешения, поставили вещи на чердаке. Наконец позавчера вечером, когда вы были у больного, Лора, или, вернее, Марта, как ее в действительности зовут, собралась с духом и, пользуясь тем, что господин Пуассон был на дежурстве, как только пробило полночь, ушла из дому вместе с Арсеном; он должен был проводить ее сюда и успеть прибежать обратно в кафе, прежде чем хозяин придет с дежурства; но не сделали они и тридцати шагов, как им показалось, будто на антресолях в комнате Пуассона зажегся свет, и они начали колебаться, идти ли им дальше или возвратиться. Тогда Марта с решимостью отчаяния уговорила Арсена вернуться, а сама бросилась бежать по улице

Турнон, надеясь, что с помощью Бога и своих быстрых ножек она спасется от грозивших ей ночью опасностей. На набережной к ней пристал какой-то мужчина, но, к счастью, он оказался вашим товарищем, Ларавиньером, который обещал ей сохранить тайну и проводил Марту сюда. Арсен забегал к нам на следующее утро. Беднягу послали с каким-то поручением на другой конец Парижа. Он весь обливался потом, был так взволнован и так запыхался, когда взбежал по лестнице, что нам стало страшно, как бы он не упал в обморок. В пятиминутном разговоре Поль успел сообщить, что испуг, пережитый ими в момент бегства, оказался ложной тревогой, – господин Пуассон вернулся лишь утром и в своем смятении и ярости далек от того, чтобы подозревать Арсена в сообщничестве.

– Чего же им теперь бояться господина Пуассона? – сказал я Эжени. – Раз он не женат на Марте, о каком-либо преследовании по суду не может быть и речи.

– Да, но какая-нибудь злая выходка сейчас, когда он так взбешен, вполне возможна. Он человек грубый, необузданный, не способный на истинную привязанность и вскоре утешится с новой любовницей. Марта хорошо знает его и хочет хотя бы на месяц сохранить в тайне свое убежище; она говорит, что потом бояться будет уже нечего.

– Если я правильно понимаю роль, отведенную мне в этом деле, – продолжал я, – то я должен: *primo*⁵: разрешить вам распоряжаться всем нашим достоянием, чтобы помочь несчастным соседкам; *secundo*⁶: всегда держать наготове увесистую палку для спины господина Пуассона на случай нападения. Итак, вот *primo*: трехмесячная рента, полученная мною вчера, – можешь, как всегда, делать с ней все, что найдешь нужным; *secundo*: вот надежная дубина – пусть стоит наготове.

С этими словами я повалился на постель и уснул, не успев даже раздеться.

Часа через два меня разбудил Орас.

– Что у тебя здесь происходит? – сказал он. – Прежде чем открыть, ведут переговоры через глазок, шушукаются за дверью, кого-то прячут не то на кухне, не то в чулане или в шкафу; а когда вхожу, смеются мне в лицо. Кого здесь обманывают? Тебя или меня?

Я, в свою очередь, расхохотался. Совершив утренний туалет, я удалился на кухню, чтобы принять участие в совещании, которое Марта и Эжени там устроили. Я считал, что нужно довериться Орасу, так же как и немногим друзьям, обычно меня посещавшим. Положиться на их порядочность и осторожность было бы гораздо безопаснее, чем пытаться скрыть от них тайну Марты. Сохранить же эту тайну казалось мне невозможным, даже при условии, если Марта никогда не будет заходить к нам в комнату, а я запрещаю привратнику пускать к нам всех моих друзей. Они все равно не посчитаются с запретом; а между тем достаточно будет приоткрыть на мгновение дверь, чтобы кто-нибудь из наших молодых людей увидел и узнал прекрасную Лору. Поэтому я начал с Ораса и сделал ему ряд торжественных признаний, скрыв, однако, от него, а позже и от других, заинтересованность Арсена в судьбе Лоры, роль его в ее бегстве и даже их давнее знакомство. Лора, снова ставшая теперь Мартой, была для Ораса и всех наших друзей подругой детства Эжени, которая, разумеется, умолчала о том, что знает Марту всего два дня. Предполагалось, что Эжени сама предложила ей убежище и свою защиту. Ее покровительство никому не казалось предосудительным; все мои друзья по справедливости относились к Эжени с глубоким уважением, а я, как легко себе представить, отнюдь не был намерен рассказывать о своей нелепой вспышке ревности.

Между тем Эжени не так-то легко простила мне эту ревность, как я воображал. Могу сказать даже, что она никогда мне ее не простила. И хотя я уверен, что она всеми силами старалась забыть об этом случае, мысленно она постоянно возвращалась к нему с горечью и обидой. Сколько раз впоследствии давала она мне это почувствовать, горячо доказывая, что любовь

⁵ Во-первых (лат.).

⁶ Во-вторых (лат.).

мужчины не может сравниться с любовью женщины! «Лучший, самый преданный, самый верный из них, – говорила она, – всегда готов усомниться в женщине, которая отдала ему свое сердце. Он оскорбит ее если не поступками, то мыслью. В нашем обществе отношение мужчины к женщине определяется исключительно его материальными правами; поэтому о нашей любви он судит на основании фактов. Что же касается нас, пользующихся лишь моральной властью, мы доверяем больше моральным доказательствам, чем очевидности. В своей ревности мы способны отвергать то, что видим собственными глазами; но, когда вы клянетесь, верим вашему слову как если бы оно было свято и нерушимо. Но разве наше слово не менее свято? Почему вы сделали из вашей чести и нашей столь различные понятия? Вы пришли бы в ярость, если бы мужчина сказал вам, что вы лжете. Однако сами вы относитесь к нам с крайней подозрительностью и принимаете предосторожности, доказывающие, что вы в нас сомневаетесь. Нравственная чистота и искренность женщины, проявляемые ею на протяжении долгих лет, должны были бы, казалось, навсегда внушить доверие мужчине, а между тем случайного стечения обстоятельств, какой-нибудь недомолвки, жеста, открытой или закрытой двери оказывается достаточно, чтобы все доверие было мгновенно разрушено».

Свои великолепные тирады она обращала к Орасу, который любил изображать себя будущим Отелло; но в действительности ее колкости ранили сердце мне.

– Где, черт возьми, она этого набирается? – замечал Орас. – Дорогой мой, ты слишком часто разрешаешь ей ходить на «проповеди» в зал Тэтбу^[38].

Глава IX

Отношения Поля Арсена и Марты были совершенно необычны. Потому ли, что он никогда не смел признаться в своей любви, потому ли, что она не хотела понять его, – они так и остались с первого дня в рамках братской дружбы. Марта не догадывалась о самоотверженности этого юноши; она не знала, от каких надежд он отказался, чтобы связать с нею свою судьбу. Он не скрыл от нее, что занимался живописью, но не сказал, какими редкими способностями одарила его природа; к тому же он объяснял свое отречение необходимостью вызвать сестер и помогать им. У Марты ничего не было, и она ничего не захотела взять у господина Пуассона. Она собиралась работать и полагала, что принимает помощь от одной Эжени. Вряд ли она бежала бы, опираясь на руку Арсена, если бы знала, что обязана ему большим, чем переговоры с Эжени и пристанище под общим кровом с его сестрами, за что она надеялась вскоре рассчитаться, уплатив свою долю расходов. Проявив такое самопожертвование, Поль сжег свои корабли и навсегда лишил себя права сказать ей: «Вот что я сделал для вас»; ибо если не вникать глубже, то что особенного он совершил? Оказал ей лишь скромную дружескую услугу.

Бедняга был так обременен работой и хозяин так неохотно отпускал его, что он не мог встретить дилижанс, с которым должны были приехать сестры. Марта не выходила из дому, опасаясь, что кто-нибудь из знакомых увидит ее и сообщит об этом господину Пуассону. Мы с Эжени взялись помочь Луизон и Сюзанне, нашим будущим соседкам, выгрузить багаж. Старшая из сестер, Луизон, была деревенская красавица, несколько грубоватая, обладавшая громким голосом, обидчивым нравом и властными замашками. Она приобрела их, когда жила у старой, больной тетки; та слушалась ее как оракула и в своей швейной мастерской позволяла ей по собственному усмотрению руководить ученицами, для которых младшая сестра, Сюзон, была лишь второстепенным лицом, чем-то вроде надсмотрщицы, в свою очередь беспрекословно подчинявшейся всем распоряжениям своей сестры. Поэтому Луизон были присущи вид королевы и неутолимая жажда власти, снедающая всех повелителей.

Сюзанна не была красива, но отличалась миловидностью и более тонкой, чем у Луизы, душевной организацией. Легко было заметить, что она способна понять то, что Луизе было совершенно недоступно. Но опека сестры, подобно свинцовому колоколу, мешала ей проявить себя или подпасть под чужое влияние.

К нашей предупредительности они отнеслись по-разному: одна – с робким удивлением, другая – с тупым равнодушием. Обе не имели ни малейшего представления о парижской жизни и никак не могли взять в толк, что важные причины могли помешать Арсену их встретить. Они рассеянно благодарили Эжени, причем Луиза кстати и некстати повторяла: «Все-таки ужасно неприятно, что Поля нет». А Сюзанна с горестным изумлением добавляла: «Ну разве не странно, что Поль не приехал».

Принимая во внимание, что они впервые в жизни проделали столь длительное путешествие в дилижансе, впервые вступили в столкновение с таможенниками, осматривавшими их сундуки, и совершенно не понимали, что означает вся эта суеда вокруг запрягаемых и выпрягаемых лошадей, бестолковая беготня отъезжающих и прибывающих пассажиров, чиновников, носильщиков, посыльных, – вполне естественно было, что они потеряли голову, испытывали усталость, испуг и недовольство. Убедившись, что я пришел помочь им – последил за их узлами и уладил их расчеты с конторой, – они смягчились. Едва уселись они в фиакр со всеми своими пожитками, бесчисленными корзинками и картонками (ибо, по обычаю деревенских жителей, они захватили с собой множество ненужных вещей, плата за провоз которых превышала их стоимость), как Луизон, засунув руку по самый локоть в кошелку, закричала: «Обождите, сударь! Обождите! Я хочу отдать вам долг! Сколько заплатили вы за наш проезд в дилижансе? Обождите же».

Для нее было непостижимо, как это я не требую немедленного возврата денег, выложенных мною из собственного кармана, чтобы истратить на них; такое проявление великодушия, которое я сам не способен был оценить по достоинству, положило начало их уважению ко мне.

Мы с Эжени наняли кабриолет, чтобы одновременно с ними подъехать к парадной двери нашего общего жилища.

– Боже мой! Какой огромный дом! – воскликнули сестры, оглядев его снизу доверху. – Он такой высокий, что даже конька на крыше не видно.

Он показался им еще выше, когда понадобилось подняться по девяносто двум ступенькам, отделявшим нас от земли. На третьем этаже они пришли в изумление, на четвертом разразились смехом, на пятом обозлились, на шестом заявили, что никогда не смогут жить на такой голубятне. Озадаченная Луиза присела на ступеньку и сказала: «Ну и занесла нас нелегкая!»

Сюзанна, которую все это скорее смешило, чем злило, добавила: «Вот здорово будет, а? Побегать этак вверх и вниз раз пятнадцать в день. Шею сломать можно!»

Эжени сразу же повела сестер в их квартиру. Они нашли ее тесной, а потолки низкими. Одно из окон выходило на общий с нами балкон. Луиза подошла было к этому окну, но тотчас же отпрянула назад и упала на ближайший стул.

– Боже мой! – воскликнула она. – У меня даже голова закружилась. Ну словно я стою на шпиле нашей колокольни!

Мы собирались пригласить их поужинать с нами. Эжени заранее приготовила легкую закуску у меня в квартире, считая, что за столом удобнее всего будет устроить встречу с Мартой.

– Вы очень любезны, сударь и сударыня, – сказала Луизон, бросив грозный взгляд на Сюзанну. – Мы не голодны.

В глазах у нее было отчаяние. Сюзанна же с таким рвением принялась распаковывать сундуки и раскладывать вещи, будто это было самое спешное дело в мире.

– А это что! Почему здесь три кровати? – заметила вдруг Луиза. – Значит, Поль все-таки будет жить с нами? Вот и прекрасно!

– Нет, Поль пока не может жить здесь, – ответил я. – Зато с вами будет ваша землячка, одна старинная ваша приятельница. Поль хотел сам представить вам ее...

– Вот как! Кто же это? У нас тут нет никакой землячки. Но почему он ничего не писал об этом?

– Он сам обо всем расскажет. А пока что он поручил мне устроить вашу встречу. Она уже живет здесь и сейчас готовит вам ужин. Привести ее?

– Мы сами пойдем на нее посмотрим, – ответила Луизон; ее разбирало любопытство. – А где она, эта землячка?

Она поспешила за мной.

– Ба! Да это Мартон! – пронзительно закричала она, узнав красавицу Марту. – Как поживаете, Мартон? Видать, вы овдовели, раз собираетесь жить с нами? Ну и дурно же вы поступили, удрав от отца с этим господином. Но потом, говорят, вы вышли за него замуж. Что ж, всякому греху – прощение!

Марта покраснела, побледнела, смутилась. Она не ожидала подобного приема. Бедная женщина совсем забыла своих бывших товарок, так же как Арсен забыл своих сестер. Тоска по родине действует на всех одинаково: она преображает в наших глазах картины прошлого, идеализируя их; достоинства возрастают, а недостатки смягчаются временем и расстоянием, пока не сотрутся в нашем представлении совершенно.

К тому же, когда Марта покинула родину, пять лет назад, Луиза и Сюзанна были детьми, не способными судить о чем бы то ни было. Теперь же это были два стража высокой нравственности, особенно старшая, обладавшая заносчивостью красавицы, знаменитой в своей округе, и всей нетерпимостью общепризнанной добродетели. Вырванные из родной почвы, где они

цвели во всем великолепии, эти дикие растения неизбежно (Арсен не подумал об этом) должны были утратить часть своей прелести и достоинств. В деревне они подавали хороший пример, приучали к трудолюбию и скромности своих сверстниц, – в Париже их прекрасные свойства будут скрыты, наставления бесполезны, пример незаметен; а качества, необходимых в их новом положении – доброты, гибкости ума, братского милосердия, – у них не было и не могло быть.

Поздно было теперь думать об этом. Первым побуждением Марты было броситься в объятия сестры Арсена, вторым – посмотреть, как та отнесется к ней, третьим – замкнуться в справедливом чувстве отчуждения и гордости; но бледность ее лица выдавала глубокую скорбь, а на глазах выступили слезы.

Я взял ее руку и ласково пожал ее; затем, усадив Марту за стол, заставил Луизу сесть рядом.

– Вы не имеете права ни допрашивать, ни упрекать Марту, – сказал я Луизе решительным тоном, сразу укротившим ее строптивость. – Ваш брат и мы глубоко уважаем ее. Она была несчастна, а порядочным людям чужое несчастье внушает только сочувствие. Когда вы возобновите знакомство с Мартой, вы полюбите ее и никогда не станете говорить с ней о прошлом.

Луизон опустила глаза, озадаченная, но не убежденная. Сюзанна, которая шла следом за нею, наклонилась к Марте и, уступая движению сердца, хотела поцеловать ее. Но грозный взгляд исподлобья, брошенный на нее Луизой, умерил этот порыв, и она только пожала Марте руку. Эжени, опасаясь, что Марте будет не по себе между двумя односельчанками, села рядом и с подчеркнутой вежливостью и предупредительностью принялась ухаживать за ней. Это был невеселый ужин; все чувствовали себя неловко. То ли от досады, то ли потому, что кушанья были ей не по вкусу, Луизон ни к чему не притронулась. Наконец пришел Арсен и после первых же объятий, догадавшись с присущей ему чуткостью обо всем происходящем, увел сестер в соседнюю комнату и пробыл там с ними больше часу.

После этого совещания лица у всех троих разгорелись. Но авторитет старшего брата, по провинциальным обычаям – непререкаемый, сломил сопротивление Луизы. Сюзанна, которая не лишена была сообразительности, поняла, что Арсен способен помочь ей противостоять властному характеру сестры, и не прочь была, мне кажется, на время сменить господина. Она отнеслась к Марте с искренним дружелюбием, Луиза же осыпала ее лицемерными любезностями, весьма неуклюжими и почти оскорбительными, Арсен почти тотчас же отправил их спать.

– Мы подождем госпожу Пуассон, – сказала Луиза, не подозревая, что, называя ее так, она снова вонзает кинжал в сердце Марты.

– Марта никуда не ездила, – холодно ответил Мазаччо, – она не обязана ложиться спать раньше, чем ей захочется. Вы же устали, и вам надо отдохнуть.

Они повиновались. И после их ухода Поль сказал Марте:

– Умоляю вас, простите моим сестрам некоторые провинциальные предрассудки; ручаюсь, они скоро откажутся от них.

– Не называйте это предрассудками, – ответила Марта. – Ваши сестры вправе презирать меня: я совершила постыдный поступок. Я доверилась человеку, которого неизбежно должна была возненавидеть, человеку, не заслуживающему любви. Ваши сестры возмущены лишь моим недостойным выбором. Если бы я бежала с таким человеком, как вы, Арсен, я встретила бы снисходительность и, быть может, уважение в чужих сердцах. Вы видите, все уважают Эжени. К ней относятся как к жене вашего друга, хотя она никогда не выдавала себя за его жену; а я называлась супругой, но все чувствовали, что это не так. Видя, какого ужасного человека я избрала, никто не верил, чтобы в такую пропасть меня толкнула любовь.

Сказав это, она горько заплакала. Долго сдерживаемая боль истерзала ей сердце.

Арсен едва не разрыдался.

– Никто никогда не говорил и не думал о вас плохо, – воскликнул он, – а сестер я заставлю разделить мое уважение к вам!

– Уважение! Возможно ли, что вы уважаете меня, вы! Так вы не думаете, что я продалась ему?

– Нет! Нет! – горячо воскликнул Поль. – Я убежден, что вы любили этого отвратительного человека, – в чем же ваше преступление? Вы не знали его, вы поверили его любви; вы были обмануты, как многие другие. Ах, сударь, – добавил он, обращаясь ко мне, – ведь вы не допускаете мысли, что Марта могла продалась, не правда ли?

Я несколько затруднился ответом. Вот уже несколько дней, как мы с Орасом, узнав об отношениях Марты и господина Пуассона, задавались вопросом, как могла такая красивая и умная женщина увлечься Минотавром. Иногда мы решали, что несколько лет назад, когда этот грубый, тупой человек был моложе, он мог быть и красивее, что до того, как он безобразно разжирел и огрубел, в его столь отвратительном ныне профиле Вителлия^[39] могло быть нечто оригинальное. Но иногда нам приходило также в голову, что соблазн приобрести наряды и драгоценности, а также надежда на беспечную жизнь вскружили голову этой девочке раньше, чем в ней проснулись сердце и ум. Наконец, мы допускали, что ее история похожа на историю всех совращенных девушек, которых тщеславие и лень толкают ко злу.

Несмотря на поспешность, с какой я стал успокаивать Марту, она поняла, что со мной происходит, и почувствовала необходимость оправдаться.

– Выслушайте меня, – сказала она. – Я очень виновата, но не так тяжело, как это кажется. Мой отец был бедный, забитый рабочий; подобно многим другим, он в вине искал забвения своих горестей и забот. Вы не знаете, что такое народ, сударь! Нет, не знаете. В народе можно встретить величайшие добродетели – и величайшие пороки. Есть люди, подобные ему (она положила свою руку на руку Арсена), но есть также люди, чья жизнь как бы отдана во власть духу зла. Их снедает мрачная ярость; глубокая безнадежность поддерживает в них постоянное озлобление. Мой отец принадлежал к числу таких людей. Кляня судьбу и бранясь, он вечно жаловался на материальное неравенство и на несправедливость судьбы. Он не был ленив от природы, но отчаяние сделало его лентяем; и в нашем доме воцарилась нищета. Все детство я металась между двумя мучительными переживаниями: я испытывала то глубокое сострадание к моим несчастным родителям, то беспредельный ужас перед вспышками гнева и неистовством моего отца. Убогая кровать, на которой все мы спали, была чуть ли не единственным нашим достоянием; и каждый день жадные кредиторы покушались на нее. Моя мать умерла совсем молодой, и главным образом из-за дурного обращения отца. Я была тогда ребенком. Я остро почувствовала утрату, хотя и была жертвой, на которой мать вымещала все достававшиеся ей побои и ругань. Но мне и в голову не приходило оскорблять ее память, радуясь относительной свободе, наступившей для меня с ее смертью. Все несправедливости, какие я терпела как от нее, так и от отца, я относила на счет нищеты. Нищета была единственным врагом, но врагом всеобщим, безжалостным и отвратительным, которого с первых же дней моей жизни я научилась ненавидеть и бояться.

Несмотря ни на что, моя мать была трудолюбива и приучала к трудолюбию и меня. Но когда я осталась одна и могла дать волю своим склонностям, я уступила той, что в детстве бывает сильнее других: я впала в леность. Отца я почти не видела; он уходил утром до моего пробуждения и возвращался поздно вечером, когда я уже спала. Он работал хорошо и быстро; но стоило ему заработать немного денег, как он тут же их пропивал. Когда он, пьяный, возвращался домой среди ночи, тяжелым топотом неверных шагов сотрясал мостовую, выкрикивая непристойные слова песни голосом, который скорее походил на рев, – я просыпалась, обливаясь холодным потом, и от ужаса волосы шевелились у меня на голове. Я забивалась в угол кровати и часами лежала, не смея дышать, а он в возбуждении продолжал метаться по комнате и в пьяном бреду разговаривал сам с собой; а иногда, вооружившись стулом или палкой, прини-

мался колотить по стенам и даже по моей кровати, так как ему казалось, что его преследуют и атакуют воображаемые враги. Я остерегалась заговаривать с ним, ибо однажды, еще при жизни матери, он хотел убить меня, чтобы ограбить, как он сказал, от горькой участи нищенки. С той поры я пряталась при его приближении, и часто, чтобы избежать ударов, которые он наудачу обрушивал в темноту, я залезала под кровать и оставалась там до утра, полуголая, оцепенев от холода и страха.

В те времена я часто бегала со своими сверстниками в луга, окружавшие наш городок; нередко мы играли там вместе, Арсен; и вы хорошо знаете, что девочка в стоптанных башмаках, подвязанных, наподобие котурнов, веревочкой, с непокорными волосами, которые так трудно было засунуть под обрывки чепца, – вы хорошо знаете, что эта робкая девочка была так же чиста и так же мало тщеславна, как и ваши сестры. Единственным моим преступлением – да и преступление ли это, когда влачишь такое жалкое существование! – была жажда не богатства даже, а спокойствия и человеческого отношения, сопутствующих достатку. Когда я случайно попадала в семью какого-нибудь буржуа и видела взаимную предупредительность его домашних, опрятность детей, изящную простоту жены, единственным моим стремлением было иметь возможность сесть на чистый стул и читать или вязать в тихой и мирной обстановке; а когда я осмеливалась мечтать о переднике из черной тафты, мне казалось, что честолюбие мое достигло предела. Как все дочери ремесленников, я умела шить, но делала это медленно и неловко. Страдания подавили все мои способности; я жила лишь в мечтах; была счастлива, когда меня не обижали, приходила в ужас и впадала чуть ли не в отупение, когда меня преследовали.

Но как сказать вам о главной и самой страшной причине моего поступка? Нужно ли это, Арсен, не лучше ли стерпеть осуждение, чем предать такому чудовищному позору имя своего отца?

– Нужно сказать все, – сказал Арсен, – или лучше я сделаю это за вас сам; ибо нельзя позволять, чтобы вас обвиняли в преступлении, если вы невиновны. Я знаю все и только что рассказал обо всем своим сестрам. Ее отец, – сказал он, обращаясь к нам (простите ему, друзья мои, нищета ведет к пьянству, а пьянство – ко всем порокам), – этот несчастный человек, опустившийся, униженный, несомненно потеряв рассудок, воспылал постыдной страстью к своей дочери, и страсть эта вспыхнула в нем как раз в тот день, когда Марта, сама того не подозревая, во время танцев обратила на себя внимание заезжего коммивояжера и возбудила бешеную ревность в своем отце. Коммивояжер был с ней очень любезен; он не преминул, как все они поступают с молоденькими девушками, которых встречают в провинции, заговорить с ней о любви и о похищении. Марта его не слушала. На следующий день он должен был уехать, и вот, перед самым отъездом, к нему бросилась какая-то женщина с распущенными волосами и вскочила в его тележку. Это была Марта, бежавшая, подобно Беатриче^[40], от зловещего насилия нового Ченчи. Она могла бы, скажете вы, принять другое решение, искать убежища у соседей, обратиться к защите закона? Но в таком случае пришлось бы обесчестить отца, пройти через позор скандальных процессов, после которых невиновный порой так же запятнан в общественном мнении, как и виноватый. Марта поверила, что нашла друга, покровителя, даже супруга; ибо, заметив ее детскую наивность, коммивояжер обещал жениться на ней. Она надеялась, что полюбит его из благодарности, и, даже когда была обманута, считала, что обязана быть ему признательной.

– Кроме того, – продолжала Марта, – мои первые жизненные шаги сопровождались такими ужасными сценами, такими страшными опасностями, что я не считала себя вправе быть слишком разборчивой. Я переменила тирана. Но второй получил все же кое-какое воспитание и, несмотря на свою ревность и вспыльчивость, показался мне менее жестоким, чем первый. Все относительно. Человек, которого вы считаете таким грубым и которого я сама начала находить таким, когда могла сравнить его с окружающими, казался мне вначале добрым

и искренним. Моя терпеливость и привычка к повиновению – результат суровой подневольной жизни – придали моему новому хозяину смелости, и скоро он дал волю своим деспотическим наклонностям. Я все сносила с покорностью, которая была бы невысказана у женщины, получившей иное воспитание. Я стала почти равнодушна к угрозам и брани. Я все еще мечтала о независимости, но думала, что для меня она уже невозможна. Душа моя была сломлена; я уже не чувствовала в себе энергии, необходимой для сопротивления, и без дружбы, советов и помощи Арсена никогда не нашла бы в себе сил. Все похожее на любовные предложения, даже простое проявление любезности, вызывало у меня лишь испуг и огорчение. Мне нужен был больше чем любовник – мне нужен был друг. Я нашла его и теперь удивляюсь, как могла я так долго страдать без надежды.

– Теперь вы будете счастливы, – сказал я, – потому что встретите у нас только нежность, преданность и уважение.

– О! В вас и Эжени я уверена! – воскликнула Марта, бросаясь на шею моей подруге. – А его дружба, – добавила она, положив руку на голову Арсена, – поможет мне вынести все.

Арсен то краснел, то бледнел.

– Мои сестры будут уважать вас, – взволнованно воскликнул он, – не то...

– Не надо угроз, – ответила она. – Никогда и никому не надо угрожать из-за меня. Я обезоружу ваших сестер, не сомневайтесь, а если не удастся, – что ж, буду сносить их пренебрежение. Для меня это такие пустяки! Все это кажется мне детской игрой. Будь спокоен, дорогой Арсен. Ты захотел меня спасти – ты действительно спас меня! И я буду благословлять тебя до конца своей жизни.

Упоенный любовью и радостью, Арсен вернулся в кафе Пуассона, а Марта, стараясь не шуметь, пошла занять свое место на узенькой кровати подле обеих сестер, чей мощный храп заглушил ее легкие шаги.

Глава X

Сестры Арсена действительно смягчились. После нескольких дней усталости, удивления и неуверенности они как будто свыклись со своей участью и сблизилась с навязанной им подружкой. Откровенно говоря, Марта проявляла по отношению к ним услужливость, доходившую до полного подчинения. Приобретенные ею хорошие манеры в сочетании с природной мягкостью и всегда повышенной, но не чрезмерной чувствительностью придавали ее обхождению необычайную прелесть. Не прошло и двух-трех дней, как мы с Эжени прониклись к ней чувством искренней дружбы. Вежливость Марты располагала в ее пользу заносчивую Луизон; и когда та искала ссоры, нежный голос, спокойная речь и предупредительность Марты умирляли провинциалку или, по крайней мере, сдерживали ее сварливый нрав.

Со своей стороны, мы делали все возможное, чтобы примирить Луизу и Сюзанну с Парижем, так возмущившим их при первом знакомстве. У себя в деревне они воображали, будто Париж – это Эльдorado, где нищета приблизительно соответствует тому, что в провинции считается богатством. До известной степени мечты их осуществились; катаясь в наемном экипаже (два или три раза я доставлял им это невинное удовольствие), они недоуменно переглядывались и говорили: «Однако нельзя сказать, чтобы мы себя стесняли! Вот в какой карете разъезжаем!» Вид самых захудалых лавчонок приводил их в восхищение. Люксембургский сад показался им волшебным царством. Но хотя новые для них впечатления и развлекли их на несколько дней, это не мешало им с грустью задумываться над своим новым положением, когда они возвращались в крошечную комнатку на шестом этаже, где отныне должна была протекать их жизнь. И впрямь, как не похоже было все здесь на их глухую провинцию! Ни воздуха, ни свободы, ни болтовни у порога с соседками; ни дружбы со всеми обитателями квартала; ни прогулок с местными девушками под каштанами после трудового дня; ни танцев под открытым небом по воскресеньям! Как только они принялись за работу, они увидели, что в Париже день слишком короток для самых необходимых дел, и если здесь и зарабатываешь вдвое больше, чем в провинции, то и тратить приходится вдвое, а работать втрое больше. Каждое такое открытие неприятно поражало их. Они не понимали также, что девичьей добродетели грозит в Париже очень много опасностей и что девушке, если она хочет вести себя благопристойно, нельзя выходить вечером одной или танцевать на общественных балах. «Ах, боже мой, – восклицала озадаченная Сюзанна, – неужели здесь так много плохих людей?»

Но все же они смирились, хотя и не безропотно. Арсен частыми увещаниями держал их в повиновении, и теперь они уже не выражали своего неудовольствия так необузданно, как в первые дни. Соседство двух вечно надутых и не очень-то хорошо воспитанных девиц было бы весьма неприятно, если бы труд – великий целитель всех зол, когда он приведен в соответствие с нашими силами, – не восстанавливал тишины и спокойствия. Благодаря мерам, заранее принятым Эжени, работа нашлась; и, пользуясь уважением и доверием своих заказчиц, она всерьез подумывала об открытии швейной мастерской. Марта не отличалась проворством, но у нее был хороший вкус и изобретательность. Луизон шила быстро и с исключительной прочностью. Сюзанна не лишена была ловкости. Эжени могла бы принимать заказы, примерять и руководить работой; она честно делилась бы с товарками. Каждая, будучи заинтересована в успехе «фаланстера»^[41], работала бы не по обязанности и нехотя, как поденная портниха, а со всем усердием и вниманием, на какое только была способна. Эта блестящая идея очень улыбалась сестрам Арсена; оставалось узнать, может ли Луизон настолько обуздать свой нрав, чтобы такое содружество стало возможным. Привыкнув командовать, она расстраивалась всякий раз, когда видела, что эта бездельница Марта (как она называла ее шепотом, на ухо сестре) придумывала более удачную отделку для рукава или с большим изяществом распределяла складки на корсаже. Когда, верная своим допотопным навыкам, Луиза кроила на собственный вкус, а

Эжени неожиданно разрушала ее планы и путала ее замыслы, деревенской красавице стоило немалого труда не швырнуть в нее стулом. Однако ласковое слово Марты или лукавая улыбка Сюзон сразу смягчали ее гнев, и она лишь глухо ворчала, как море после шторма.

Между тем как в наших двух квартирках осуществлялся опыт новой жизни, Орас, запершись у себя в мансарде, отдавался опытам литературным. Едва мне возвратили относительную свободу, я отправился к нему, ибо уже много дней я был лишен его общества. В жилище Ораса я увидел большие перемены. Он убрал свою каморку с некоторой претенциозностью. Он покрыл стол куском сукна, очевидно стараясь придать ему сходство с бюро. Одним из матрацев заложил дверную нишу, чтобы заглушить шумы из соседних комнат, а наброшенная на его плечи ситцевая занавеска должна была изображать халат, или, вернее, театральную мантию. Он сидел за столом, опершись головой на руки, ероша всклокоченные волосы, и, когда я открыл дверь, по меньшей мере, двадцать исписанных листков, подхваченные сквозняком, запорхали вокруг него и опустились со всех сторон, как стая перепуганных птиц.

Я кинулся поднимать и невольно бросил на них нескромный взгляд. На всех листках стояли различные заголовки.

– Роман! – вскричал я. – Называется «Проклятие», глава первая! Но нет, он называется «Новый Рене», глава первая... Э, нет! это «Заблуждение», книга первая. Ах! Теперь совсем другое – «Последний верующий», часть первая... О! Да вот стихи! Поэма, песнь первая – «Конец мира». А, баллада! «Прекрасная дочь короля мавров», строфа первая; а на том листке «Сотворение» – фантастическая драма, сцена первая; а тут еще водевиль... Боже милосердный! «Бродячие философы», акт первый; и, честное слово, еще что-то! Политический памфлет, страница четвертая. Да если всему этому дать ход, ты, дорогой Орас, бурным потоком ввергнешься в литературу.

Орас был взбешен. Обругав меня за любопытство, он вырвал у меня из рук все эти начатые листки, из которых ни один не был заполнен больше чем наполовину, смял их, скомкал и швырнул в камин.

– Как! Из-за шутки отказаться от всех своих грез, всех планов и замыслов? – сказал я.

– Друг мой, если ты пришел сюда развлекаться, – возразил он, – отлично! Будем болтать, смеяться сколько тебе угодно; но если ты собираешься издеваться надо мной раньше, чем моя колесница сдвинулась с места, я никогда не смогу пустить коней вскачь.

– Ухожу, ухожу, – сказал я, надевая снятую было шляпу, – не хочу мешать тебе в минуты вдохновения.

– Нет, нет, останься, – сказал он, удерживая меня силой, – вдохновение сегодня не придет. Я отупел; ты вовремя пришел, чтобы отвлечь меня от самого себя. Я измучен, голова совершенно отказывается работать. Три ночи я не спал и пять дней не был на воздухе.

– Ну что ж, поздравляю тебя с таким усердием. Что-нибудь, наверное, уже получается? Не прочтешь ли?

– Я? Да я ничего не написал. Ни одной строчки не выправил. Оказывается, марасть бумагу значительно труднее, чем я предполагал. По правде сказать, это препротивное занятие. Сюжеты одолевают меня. Стоит закрыть глаза, как в голове возникает и приходит в волнение целое полчище, целый мир образов. Стоит открыть их – все исчезает. Я поглощаю кофе пинтами, выкуриваю дюжины трубок, опьяняюсь собственными восторгами; мне кажется, я подобен вулкану перед извержением. Но едва я приближаюсь к этому проклятому столу, как лава застывает и вдохновение гаснет. Пока я готовлю бумагу и чиню перо, меня одолевает скука; запах чернил вызывает во мне тошноту. А потом, эта нудная обязанность излагать словами и записывать какими-то каракулями свои мысли, пылкие, живые, стремительные, как лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи! О, и тут ремесло, даже тут! Куда бежать от ремесла, великий боже! Ремесло преследует меня повсюду!

– Вы, значит, собираетесь, – сказал я ему, – найти такой способ выражения ваших мыслей, который не имел бы осязаемой формы? Мне такой способ неизвестен.

– Нет, – сказал он, – но я хотел бы выражать их сразу же, без усталости, без усилий, как течет вода, как поет соловей.

– Течение воды – результат известного усилия природы, а пение соловья – искусство. Приходилось ли вам слышать, как молодые птицы щебечут неверными голосами и пробуют силы в первой песне? Любое точное выражение идей, чувств и даже инстинкта требует известной подготовки. Неужели вы надеетесь первый же набросок написать с той легкостью и плавностью, что даются лишь долгой работой?

Орас считал, что дело не в отсутствии у него легкости и плавности, а в том, что время, практически затрачиваемое на выписывание букв, сводит на нет все его способности. Он лгал: когда я предложил свои услуги, чтобы стенографировать под его диктовку, пока он будет импровизировать вслух, он отказался, и не без причины. Я знал, что ему ничего не стоит написать очаровательное, остроумное письмо, – но, по-видимому, для того, чтобы какой-нибудь мысли придать форму, хотя бы не очень развернутую и законченную, требовалось много больше труда и терпения. Несомненно, ум Ораса не был бесплоден. Юноша был прав, жалуясь на излишнюю подвижность своих мыслей и избыток зрительных образов, – но он совершенно лишен был дара обрабатывать задуманное и выбирать нужную форму. Он не умел работать; позже я убедился в том, что он не умеет страдать.

Да и не в этом было главное препятствие. Я полагаю, для того чтобы писать, нужно иметь определенное и обоснованное мнение о том, что пишешь, не говоря уже об известном количестве других, не менее определенных мыслей, необходимых для подкрепления своих доводов. Орас не имел твердого мнения о чем бы то ни было. Он импровизировал свои убеждения в ходе разговора, по мере их изложения, и делал это, надо сказать, блестяще; поэтому он нередко менял их, и, слушая его, Мазаччо обычно бормотал сквозь зубы поговорку: семь пятниц на неделе.

Если ограничиваться беседами, можно на свой страх и риск привлекать внимание слушателей и забавлять их, пользуясь таким приемом. Но когда слово приобретает более высокое назначение, надо, пожалуй, точно знать, что ты стремишься рассказать или доказать. Орасу нетрудно было найти доводы в споре; его воззрения, в которые он верил, лишь пока излагал их, не могли взволновать его до глубины души, воспламенить воображение и произвести в нем ту могучую, таинственную и скрытую работу, которая проявляется во вдохновении, как труд циклопов в пламени Этны.

Если нет цельного мировоззрения, то чувства сами по себе могут взволновать нас и даже пробудить наше красноречие; это свойство, присущее молодости. Орас этой способностью еще не обладал; не изведав волнения страстей, не видел их проявления в обществе – одним словом, почерпнув то, что знал, только из книг, он не мог при выборе того или иного рассказа, той или иной картины руководствоваться откровением свыше или благородной необходимостью. Все же, поскольку голова его была полна подсказанными общей культурой вымыслами, которые сулили интересное развитие, как только сам он обогатится жизненным опытом, он считал себя способным творить. Но он не мог полюбить свои экспромты, не затрагивавшие его души и, по правде сказать, порожденные не ею, а лишь работой памяти. Поэтому, в какую бы форму он ни облекал их, им не хватало своеобразия, и он это чувствовал; он был человеком со вкусом, и его самолюбие не было самолюбием глупца. И вот он зачеркивал, рвал, начинал сызнова и в конце концов бросал свое сочинение, чтобы попробовать силы в новом, которое удавалось не лучше.

Не понимая причин своей беспомощности, он ошибочно объяснял ее отвращением к форме. Форма была единственным богатством, которое он мог бы постепенно приобрести с помощью терпения и воли; но никогда она не заменила бы глубины содержания, совершенно

ему недоступной, – а без нее литературное произведение с самыми блестящими метафорами, с самыми искусными и чарующими оборотами не имеет никакой цены.

Я часто твердил ему об этом, но убедить его мне не удавалось. Даже после опыта, длившегося более месяца, он все еще упорствовал в своем самообольщении. Орасу казалось, что препятствиями, которые ему предстояло преодолеть, были только кипение крови, горячность молодости, лихорадочное стремление выразить свои чувства. Вместе с тем он признавал, что все его наброски через десять строк или три стиха приобретали разительное сходство с произведениями его любимых авторов, и он краснел, видя, что способен только на подражание. Он показал мне некоторые стихи и фразы, под которыми могло бы стоять имя Ламартина, Виктора Гюго, Поля Курье^[42], Шарля Нодье^[43], Бальзака и даже Беранже^[44], хотя подражать ему особенно трудно из-за его ясной, сжатой манеры. Но эти короткие наброски, которые можно было назвать фрагментами фрагментов, служили бы в произведениях его вдохновителей лишь украшением их собственных, индивидуальных мыслей, а именно индивидуальности у Ораса и не было. Если он излагал какую-нибудь идею, то вас поражал (да и его самого тоже) явный плагиат, ибо эта идея принадлежала вовсе не ему – она принадлежала им; она принадлежала всем. Чтобы сообщить мысли отпечаток собственной индивидуальности, он должен был вынашивать ее в своем сознании, в своем сердце очень глубоко, очень долго, пока с ней не произойдут совершенно особые превращения; ибо ни один ум не бывает тождествен другому и никогда одни и те же причины не вызывают в разных умах одинаковых следствий; поэтому многие мастера могут одновременно стремиться передать одно и то же чувство, разрабатывать один и тот же сюжет, не опасаясь повторить друг друга. Но для того, кто не постиг этого явления, для того, кто сам не наблюдал подобных особенностей, не испытал этого чувства, – ни индивидуальность, ни своеобразие невозможны. Вот почему прошло еще много дней, а Орас продвинулся не дальше, чем в первый час. Необходимо добавить, что при этом он истратил впустую весь небольшой запас воли, накопленный им, чтобы выйти из бездействия. Когда он был окончательно сломлен усталостью, преисполнен отвращения, почти болен, он вышел из своего убежища и снова окунулся в жизнь, ища развлечений и стремясь даже, по его словам, испытать страсть, в надежде хоть ею разбудить свою дремлющую музу.

Его решение испугало меня. Пуститься без всякой цели в это бурное море, не обладая опытом, который предохранил бы от опасности, – значит рисковать большим, чем можно предполагать. Так же, очертя голову, бросился он и в литературу; но там у него не было сообщника, и единственной грозившей ему катастрофой была потеря времени и чернил. Но что станет с ним, бедным слепцом, под водительством *слепого бога*?

Крушение произошло не так скоро, как я боялся. В пучине страстей гибнет не всякий, кто к этому стремится. По натуре Орас отнюдь не был страстен. Собственная личность выросла в его сознании до таких размеров, что, казалось, ни одно искушение не было достойным его. Чтобы пробудить в нем восторг, нужна была встреча с какими-то высшими существами; а пока он не без основания предпочитал себя самого тем пошлым женщинам, с какими мог завязать отношения. Нечего было бояться, что он подвергнет опасности свое драгоценное здоровье знакомством с уличными проститутками. Он также не был способен унижить свою гордость до того, чтобы умолять тех, кто сдается лишь перед дорогими подарками или другими доказательствами пылкого увлечения, которые оживили бы их угасшее сердце и пресыщенное любопытство. Он испытывал к таким женщинам презрение, доходившее до самой суровой нетерпимости. Он не понимал религиозного и поистине великого смысла «Марион Делорм». Он любил это произведение, но не постигал его глубокой нравственной ценности. Ему нравилось изображать из себя Дидье, но Дидье из одной лишь сцены – той, где любовник Марион, потрясенный своим открытием, осыпает несчастную насмешками и проклятиями; что же до прощения, даруемого в заключительной сцене, Орас утверждал, будто Дидье никогда на него не согласился бы, если б не знал, что через мгновение ему отрубят голову.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

В начале 1841 года Жорж Санд закончила роман «Орас» и послала рукопись редактору журнала «Ревю де дё монд» Бюлозу. Уже достаточно напуганный идеями Жорж Санд, выраженными ею в предыдущем романе «Странствующий подмастерье», Бюлоз потребовал значительных изменений в тексте нового романа. Жорж Санд отказалась выполнить это. «Я ясно вижу, – пишет она, – что вы требуете от меня невозможного... Вы хотите, чтобы я рассказала о буржуазии, не упоминая о том, что она глупа и несправедлива, и об обществе, не говоря о том, что оно абсурдно и безжалостно... Мои герои сражаются на баррикадах улицы Клуатр-Сен-Мерри, и... удивительное дело! – рабочий и студент-республиканец сражаются не за монархию!..»

2.

Дюверне Шарль (1807–1874) – писатель, друг Жорж Санд.

3.

Нынешние маркизы уже не смешны. – В комедии «Версальский экспромт» Мольер заявил: «Нынче маркиз – самое смешное лицо в комедии» и в своих произведениях вывел ряд маркизов, достойных осмеяния. Новая эпоха, согласно Жорж Санд, требует сатирического изображения буржуазного общества.

4.

...принадлежность к Латинскому кварталу... – то есть к студенчеству. В Латинском квартале находится Парижский университет – Сорбонна и другие высшие учебные заведения.

5.

...смешон на Гентском бульваре... – Итальянский бульвар, место прогулок аристократической публики, издавна считался законодателем моды. Во время Реставрации этот бульвар часто называли Гентским, в память пребывания Людовика XVIII в Генте во время Ста дней.

6.

Одеон – театр, расположенный недалеко от Люксембургского сада, часто посещался студенческой молодежью.

7.

...возрастной ценз... – Согласно конституции 1814 г., право быть избранным в палату депутатов имели лица, достигшие сорока лет и обладавшие высоким имущественным цензом.

8.

Дантон Жорж-Жак (1759–1794) – выдающийся деятель Французской революции, член Комитета общественного спасения. Казнен в период якобинской диктатуры.

9.

Мирабо Оноре-Габриэль (1749–1791) – граф, деятель Французской революции. Будучи депутатом Генеральных штатов от третьего сословия и членом Учредительного собрания, в значительной мере способствовал революционному развитию событий, но впоследствии тайно вступил в переговоры с двором.

10.

Питт Уильям Старший (1708–1778) – английский государственный деятель, виг. В 1766–1768 гг. – премьер-министр Англии. Питт Уильям Младший (1759–1806) – с 1801 по 1806 г. – премьер-министр Англии.

11.

...госпожу Дорваль и Локруа в «Антони». – «Антони» (1831) – драма Александра Дюма (1802–1870); Дорваль (настоящее имя Мари-Амели Делоне; 1798–1849) – французская актриса; Локруа Жозеф-Филипп (1803–1891) – французский актер.

12.

Кодекс – первый свод буржуазного гражданского законодательства, введенный в 1804 г. Наполеоном.

13.

Дигесты – главная часть свода римского гражданского права, составленного при императоре Юстиниане в 529 г.

14.

Потье, Дюкоруа, Рогрон – известные французские юристы, авторы трудов по французскому праву.

15.

Сальватор Роза (1615–1673) – итальянский художник. Пристрастие его к драматическим сюжетам и к резко контрастирующим тонам создало ему успех в XIX в., в эпоху романтизма.

16.

«Павел и Виргиния» – роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814).

17.

Петрарка Франческо (1304–1374) – великий итальянский гуманист и поэт эпохи Возрождения.

18.

«Рене» (1802) и «Атала» (1801) – повести одного из крупнейших французских писателей раннего романтизма Франсуа-Рене де Шатобриана (1768–1848).

19.

Делакруа Эжен (1798–1863) – французский художник, глава романтической школы в живописи.

20.

Мазаччо (настоящее имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди; 1401–1428) – известный художник итальянского Возрождения.

21.

Pensieroso («Мыслитель») – название, которым обозначают главную скульптурную фигуру в Капелле Медичи работы Микеланджело во Флоренции. Лоренцо Медичи изображен в виде сидящего в глубокой задумчивости воина.

22.

Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский пастор и писатель-богослов, основатель физиономики – науки, стремившейся обнаружить закономерности связи между характером человека и чертами его лица.

23.

«Федра» – трагедия Жана Расина (1639–1699), одного из крупнейших представителей французского классицизма.

24.

Барбье Огюст (1805–1882) – французский поэт. Его первый сборник стихов «Ямбы» (1831) принес ему славу. В нем он противопоставляет трусости и алчности буржуазии героизм парижского народа, сражавшегося на июльских баррикадах.

25.

Музей Дюсомерара – музей прикладного искусства Средних веков и Возрождения, основанный ученым-антикваром Александром Дюсомераром в начале 30-х гг.

26.

Ламартин Альфонс (1790–1869) – французский поэт и политический деятель. Сборником стихотворений Ламартина «Поэтические размышления» (1820) открывается история поэзии французского романтизма.

27.

Полигимния – одна из девяти муз греческой мифологии, муза, вдохновлявшая поэтов на героические гимны.

28.

«Манон Леско» – роман аббата Антуана-Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).

29.

...министрами Реставрации... – Речь идет о процессе, возбужденном под давлением республиканцев против министров свергнутого революцией 1830 г. Карла X.

30.

Легитимист – после Июльской революции так назывались сторонники монархии Бурбонов.

31.

«Деба» («Журналь де Деба») – газета, занимавшая в годы Июльской монархии либеральную позицию.

32.

«Газетт де Франс» – орган легитимистов.

33.

«Насиональ» – орган республиканской оппозиции.

34.

«Фигаро» – сатирическая газета, основанная в 1825 г.

35.

...Фенелонова Калипсо... – Фенелон Франсуа (1651–1715) – автор романа «Приключения Телемака, сына Одиссея» (1699); Калипсо – нимфа, к которой попадает Телемак.

36.

Саул – библейской персонаж, отличавшийся богатырским сложением.

37.

Лафайет Мари-Жозеф (1757–1834) – французский политический деятель, генерал. В 1820-е гг. был одним из наиболее популярных лидеров либерального движения. Слыл сторонником республиканской формы правления и был связан с карбонаризмом.

38.

Зал Тэтбу – театральная зал, в котором в 30-е гг. XIX в. устраивались собрания сенсимонистов, читались лекции, посвященные вопросам женского равноправия.

39.

Вителлий Авл – римский император, царствование которого длилось всего несколько месяцев 69 г. н. э. Его жестокость, развращенность и жадность вызвали к нему всеобщую ненависть.

40.

Беатриче. – Речь идет о Беатриче Ченчи, которая подверглась насилию со стороны своего отца, графа Ченчи (XVI в.).

41.

Фаланстер. – Согласно учению социалиста-утописта Шарля Фурье (1772–1837), идеальные ассоциации людей, или фаланги, будут жить и работать на добровольных началах в особых помещениях – фаланстерах.

42.

Курье Поль-Луи (1772–1825) – французский писатель, автор памфлетов, направленных против режима Реставрации.

43.

Нодье Шарль (1780–1844) – французский писатель, романист и критик. Наиболее известный роман его – «Жан Сбогар» (1818).

44.

Беранже Пьер-Жан (1780–1857) – французский поэт-демократ, мастер французской песни, поднявший ее до уровня высокого искусства.